БЕЛАЯ СЕСТРА

ФРЭНСИС МЭРИОН КРОУФОРД



РИМСКАЯ ДРАМА О ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ, ТАЙНЕ ВАТИКАНА И СИЛЕ ДОЛГА

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд

Белая сестра

«Автор»
2026

Кроуфорд Ф.

Белая сестра / Ф. Кроуфорд — «Автор», 2026

Рим конца XIX — начала XX века становится ареной пронзительной драмы о глубоком чувстве, тяжелом долге и нерушимых обетах. Джованни Северио, блестящий молодой офицер, пропадает без вести в Африке, оставив безутешной свою возлюбленную Анджелу Кьярамонти. Убийственная весть о его гибели заставляет потрясённую девушку отречься от мира и принять постриг в римском монастыре, где ее называют Белой Сестрой.Однако судьба готовит героям невыносимое испытание: Джованни чудом выживает, возвращается в вечный город и узнает, что его невеста теперь принадлежит Богу. Между ними встают непреодолимые стены — строгие церковные каноны, тайны Ватикана и тяжесть негласного морального долга. Роман мастера психологической прозы Кроуфорда тонко исследует конфликт между искрасодержащей человеческой страстью и преданностью священным клятвам, заставляя читателя сопереживать трагедии двух любящих сердец на фоне величественных пейзажей Рима.

© Кроуфорд Ф., 2026
© Автор, 2026

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд
Белая сестра

Предисловие переводчика



Роман «Белая сестра» (*The White Sister*, 1909) занимает особое место в наследии американского прозаика и драматурга Фрэнсиса Мэриона Кроуфорда (1854–1909). Карьера Кроуфорда пришлась на золотой век классической беллетристики, а сам он обладал редким даром — глубоким пониманием европейской, и в особенности итальянской, культуры, сочетавшимся с тонкой романтической чувствительностью.

Замысел «Белой сестры» родился на стыке двух искусств: изначально написанная в 1907 году как драматическая пьеса в соавторстве с Уолтером Хэкеттом, история получила настолько пылкий отклик публики на бродвейских подмостках, что автор решил переработать её в полноценный роман. Эта книга стала последним крупным трудом Кроуфорда и вышла в свет уже после его скоропостижной кончины.

Сюжет переносит читателя в Рим начала XX века — город, где вечные религиозные традиции сталкиваются с личными трагедиями и страстями. В центре повествования — молодая аристократка Анджела Кьяромонте, которая после ложного известия о гибели своего возлюбленного Джованни Севери принимает монашеский постриг и даёт вечные обеты. Когда же оказывается, что Джованни жив, герои оказываются перед тяжелейшим выбором между нерушимым духовным долгом и земной любовью.

При работе над переводом главной задачей было сохранить неповторимый авторский стиль Кроуфорда — его неторопливый, элегантный нарратив, точность в изображении быта итальянской аристократии того времени и тонкую психологическую проработку конфликта. Особое внимание уделялось передаче религиозно-этической терминологии и эмоциональной глубины диалогов, не утративших своей остроты и для современного читателя.

Надеюсь, что роман «Белая сестра» станет для вас не просто увлекательным погружением в атмосферу классической мелодрамы, но и поводом задуматься об истинной природе верности, самопожертвования и милосердия.

Владимир Давыдов

Главные и второстепенные персонажи романа «Белая сестра»



Система персонажей романа Фрэнсиса Мэриона Кроуфорда выстроена вокруг классического для мелодрамы и религиозной драмы треугольника чувств, долга и социального давления. Герои делятся на центральные фигуры, двигающие сюжет, и второстепенные образы, создающие объемный фон итальянского общества начала XX века.

Главные персонажи

Анджела Кьяромонте (сестра Джованна / The White Sister)

Роль: Главная героиня, давшая название всему произведению.

Характеристика: Дочь богатого и влиятельного римского аристократа. После того как её отец умирает, а обстоятельства семейного брака осложняют вопрос наследования, а злая мачеха лишает её наследства и выгоняет из дома, она получает ложное известие о гибели на войне своего жениха, Джованни. Оставшись одна, без средств и опоры, она уходит в монастырь и принимает вечные обеты милосердия («белая сестра»). Её образ — это воплощение чистоты, преданности долгу и глубокой внутренней борьбы между любовью к человеку и любовью к Богу.

Джованни Севери (Giovanni Severi)

Роль: Главный герой, возлюбленный Анджелы.

Характеристика: Пылкий, храбрый и амбициозный офицер итальянской армии, военный инженер. Попав в плен в Африке и пережив тяжелые испытания, он чудом возвращается в Рим, рассчитывая воссоединить свою жизнь с Анджелой. Его столкновение с монастырскими обетами возлюбленной становится главным двигателем драматического конфликта книги. Джованни отказывается мириться с тем, что «церковь отняла у него невесту», балансируя между благородством и фанатичной одержимостью.

Второстепенные персонажи

Принцесса Кьяромонте (Princess Chiaromonte)

Роль: Мачеха Анджелы, главный отрицательный персонаж.

Характеристика: Холодная, расчетливая, лицемерная аристократка. Используя юридические лазейки в документах покойного мужа, она лишает падчерицу прав на наследство, движимая жадностью и глубокой личной антипатией.

Монсеньор Иполито Сарачинеска (Monsignor Saracinesca)

Роль: Духовный наставник и друг семьи.
Характеристика: Мудрый, образованный и глубоко сострадательный церковный иерарх. В отличие от фанатиков, он понимает всю глубину трагедии Анджелы и Джованни и выступает в роли миротворца, помогая героям искать моральный выход в безвыходной ситуации.

Мать-настоятельница монастыря Санта-Чечилия

Роль: Настоятельница обители, где служит Анджела.
Характеристика: Строгая, непреклонная, но справедливая и любящая женщина. Она стоит на страже монастырских уставов и обетов, защищая душевный покой Анджелы от внешних разрушительных бурь.

Уго Дельфера (Ugo Delfera)

Роль: Близкий друг и сослуживец Джованни.
Характеристика: Поддерживает Джованни в его военных испытаниях и помогает ему ориентироваться по возвращении в светский Рим.

Прочие представители римской аристократии и духовенства

Создают атмосферу светских салонов, сплетен, строгих традиций и религиозных ритуалов, на фоне которых разворачивается личная драма главных героев.

География романа



Действие романа Фрэнсиса Мэриона Кроуфорда разворачивается в Италии начала XX века, сочетая реальные историко-географические локации с романической атмосферой.

1. Рим — центральная арена событий

Рим в романе выступает не просто фоном, а живым организмом, где сталкиваются светская жизнь аристократии, строгие католические традиции и военная служба.

Палаццо Кьяромонте (Palazzo Chiaromonte): Родовое гнездо семейства Анджелы. Старинный, мрачный дворец, воплощающий консерватизм, аристократическое чванство и патриархальный уклад ревностных католических родов Рима.

Монастырь и больница Сестёр Санта-Чечилия (Santa Cecilia): Место, где Анджела принимает постриг и даёт вечные обеты «белой сестры» (монахини-милосердия). Обитель расположена в тихом уголке Рима и символизирует духовное отречение от мира.

Светские салоны и улицы Рима: Прогулки по Пинчо, встречи в аристократических домах и военные штабы, отражающие социальный срез итальянского общества перед Первой мировой войной.

2. Северная Африка и Итальянская Сомали — зона военного конфликта

Контрастирующий с академическим и религиозным Римом регион, где разворачивается драматическая линия Джованни Севери.

Итальянские колониальные территории в Африке: Место прохождения службы и последующей экспедиции Джованни.

Пустыня и африканский плен: Дикая, суровая природа Африки становится местом испытаний, где Джованни считают погибшим в результате нападения местных племен. Эта локация подчеркивает разрыв между европейской цивилизацией и опасным внешним миром.

3. Предгорья и загородные поместья (Лацио)

Загородные виллы и имения: Пространство для уединения, где герои, пытаясь укрыться от душной атмосферы столичной знати и тяжелых переживаний, сталкиваются с ключевыми моральными эмблемами романа.

Атмосфера романа



Атмосфера книги построена на контрастах — тихая монастырская созерцательность здесь непрерывно сталкивается с бурями человеческих страстей, а светская роскошь — с аскетичной строгостью.

1. Торжественный и готический Рим

Рим у Кроуфорда — это город теней, старинных дворцов и глубоких семейных тайн. Читатель погружается в обстановку мрачных палаццо с пыльными портретами предков, тяжелыми бархатными портьерами и холодными мраморными галереями. Здесь царит дух старой аристократии — сдержанной, гордой и непоколебимо верной традициям.

2. Монастырская тишина и белизна

Контрастом к суете и интригам светского общества выступает обитель «белых сестёр». Атмосфера здесь пропитана запахом ладана, тихим шорохом одежд, прохладой каменных сводов и сдержанной грацией милосердия. Белоснежные облачения монахинь символизируют чистоту, покой и отречение от земных бурь, но этот покой оказывается лишь хрупким фасадом для внутренних терзаний главной героини.

3. Эмоциональный драматизм и надрыв

В воздухе повествования постоянно ощущается невидимое напряжение. Это атмосфера высокой классической мелодрамы начала XX века, где эмоции глубоки и трагичны, но скованы строгими рамками морали, чести и религиозных табу. Каждая встреча героев пронизана несбыточной надеждой, любовью и горечью неизбежного выбора.

4. Экзотика и опалённость африканским солнцем

Воспоминания и линии, связанные со службой Джованни, вносят в роман дыхание опасности и неизведанности. Выжженные солнцем пустыни Африки, зной, песчаные бури и суровый плен резко диссонируют с прохладной элегантностью европейских салонов, придавая роману приключенческую и тревожную ноту.

Проработка характеров



Психологическая глубина романа «Белая сестра» строится на внутренней борьбе героев между человеческими чувствами, с одной стороны, и жесткими социально-религиозными институтами — с другой. Характеры персонажей раскрываются через ключевые испытания, трансформирующие их мировоззрение.

1. Анджела Кьяромонте (Sister Giovanna)

Исходное состояние: Беспечная, чистая и кроткая девушка из высшего общества, полностью зависимая от семьи и глубоко влюбленная в Джованни.

Арка развития: От наивной аристократки к сильной, духовно зрелой женщине. Потеряв отца и возлюбленного, а также лишившись наследства из-за интриг мачехи, она осознанно выбирает путь монахини-милосердия.

Внутренний конфликт: Самый тяжелый психологический узел романа. Вернувшийся Джованни требует, чтобы она отказалась от обетов, мотивируя это тем, что они были даны на основе ложной информации. Анджела оказывается между священным долгом перед Богом (вечные обеты) и всё ещё пылающей земной любовью. Ее характер проявляет невероятную стойкость: она не сдается под давлением страсти, но и не остается равнодушной к страданию любимого.

2. Джованни Севери

Исходное состояние: Пылкий, благородный, амбициозный молодой офицер и военный инженер.

Арка развития: Пройдя через ужасы африканского плена, болезни и лишения, он возвращается домой сломленным физически, но с ещё более истовой, граничащей с безумием любовью к Анджеле.

Внутренний конфликт: Бунт против религиозных догм. Для Джованни монастырь — это «тюрьма», отнявшая у него невесту. Он отказывается понимать и принимать монашеские обеты Анджелы, воспринимая их как фанатизм. Его характер балансирует на грани благородного рыцарства и разрушительного эгоизма, когда он ставит любовь выше религиозных институтов и личного покоя Анджелы.

3. Принцесса Кьяромонте (Мачеха Анджелы)

Характер: Холодная, расчетливая, лицемерная и властолюбивая женщина.

Роль в сюжете: Главный катализатор трагедии. Используя юридические лазейки (отсутствие официального гражданского брака у родителей Анджелы), она лишает падчерицу состояния и выгоняет её из дома.

Психологический подтекст: Ее поступки продиктованы не просто жадностью, но и скрытой завистью к молодости, красоте и чистоте Анджелы, а также желанием обеспечить безусловный статус собственным интересам.

4. Монсеньор Иполито Сарачинеска

Характер: Мудрый, сострадательный и умудренный опытом духовник.

Роль в сюжете: Голос разума и истинного христианского милосердия. В отличие от слепого фанатизма, он видит глубину трагедии Анджелы и Джованни.

Психологический подтекст: Сарачинеска представляет собой образ идеального священника — он не осуждает героев за человеческие слабости, а помогает им найти моральный ориентир и духовный выход из тупика.

5. Мать-настоятельница (Mother Superior)

Характер: Строгая, непреклонная, но глубоко справедливая и заботливая руководительница монастыря.

Роль в сюжете: Олицетворение монастырского устава и духовной дисциплины. Она искренне любит Анджелу, но бережет честь ордена и помогает героине сохранять верность принятым решениям перед лицом искушений.

Язык персонажей и природы



Языковое и стилистическое оформление романа «Белая сестра» играет ключевую роль в создании атмосферы и раскрытии психологического состояния героев. Фрэнсис Мэрион Кроуфорд использует контрастные языковые регистры для изображения персонажей и пейзажных описаний.

1. Язык и речи персонажей

Речевая характеристика героев четко дифференцирована в зависимости от их социального статуса, мировоззрения и внутренней эволюции:

Анджела Кьяромонте (сестра Джованна):

Светский период: Речь легкая, изящная, изобилующая эмоциональными паузами и возвышенной, романтической лексикой.

Монастырский период: Язык кардинально меняется — становится сдержанным, полушёпотом, наполненным религиозной терминологией, формулами христианского смирения и кротости. В диалогах с Джованни её речь звучит как непрерывный баланс между строгой логикой духовного долга и надрывным, сдерживаемым шепотом страсти.

Джованни Севери:

Речь импульсивная, отрывистая, военная по духу, строящаяся на повелительных глаголах и пылких воззваниях.

В его монологах преобладает светская, секулярная лексика, часто с оттенком бунта и протеста против церковных догм («тюрьма», «заблуждение», «фанатизм»).

Клерикальные персонажи (Монсеньор Сарачинеска, Мать-настоятельница):

Язык торжественный, академический, строгий, но лишенный сухости.

Используются библейские аллюзии, афористичные формулировки и размеренный, созерцательный ритм фраз, подчеркивающий их духовный авторитет.

Принцесса Кьяромонте:

Речь холодно-корректная, светски-вежливая, с обильным использованием юридических и этикетных формул, за которыми скрывается расчетливость и фальшь.

2. Язык природы и пространственных описаний

Пейзаж у Кроуфорда никогда не бывает статичным фоном — он служит психологическим зеркалом (психологическим отражением внутреннего мира) и подчинен ярким стилистическим контрастам:

Итальянский (Римский) пейзаж — Прохлада и Мрамор:

Описания Рима и монастырских садов строятся на **палитре белого, серого, золотого и теневых тонов**.

Используется метафорика тишины, камня, прохлады, проходящего времени («вечные плиты», «прохладная тень кипарисов», «сонная лазурь»).

Природа здесь одухотворена и подчинена человеку: сады закрыты строгими монастырскими стенами, отражая укрощение плоти и обретение духовного покоя.

Африканский пейзаж — Зной и Опасность:

В контраст к европейской утонченности описания Африки строятся на экспрессивных, агрессивных эпитетах и метафорах («слепящее солнце», «выжженная пустыня», «удушающий зной»).

Язык описания дикой природы динамичен и тревожен; здесь природа враждебна человеку, символизируя хаос, лишения и физическое испытание духа Джованни.

3. Символический язык деталей

Кроуфорд активно использует предметно-природную символику как особый выразительный язык:

Лилия и белые одеяния — символы невинности, жертвенности и абсолютной чистоты.

Мрамор и каменные своды — символ непреложности обета, холода смерти и одновременно нерушимой крепости веры.

Солнечный свет и сумерки — светские сцены часто происходят при ярком или искусственном освещении, в то время как ключевые духовные откровения герои переживают в полумраке соборов и сумерках монастырских келий.

Быт персонажей



Бытовое описание в романе Фрэнсиса Мэриона Кроуфорда служит не просто фоном, а наглядным выражением социального статуса, мировоззрения и внутреннего состояния героев. В книге чётко противопоставлены три бытовых уклада: аристократически-светский, монастырско-больничный и военный (колониальный).

1. Светский быт римской аристократии (Палаццо Кьяромонте)

Быт старинных княжеских семей Рима выстроен вокруг вековых семейных традиций, строгой иерархии и внешнего благочестия:

Интерьеры и атмосфера: Мрачные, величественные палаццо с мраморными лестницами, анфиладами высоких залов, массивными портьерами и темной резной мебелью. Быт аристократии пропитан духом увядающего величия, где каждый предмет мебели и портрет предков подчёркивает древность рода.

Распорядок дня и уклад: Строго регламентированные визиты вежливости, светские приёмы, утренние обедни, вечерние выезды в экипажах по Пинчо и тихие беседы в гостиных. Любое отступление от этикета воспринимается как трагедия или скандал.

Правовые и финансовые реалии: Быт дворянства тесно связан с семейными юристами, брачными контрактами и вопросами наследования. Трагедия Анджелы начинается именно с бытово-правовой детали — отсутствия гражданской регистрации брака её родителей, что моментально лишает её права находиться в родном доме.

2. Аскетичный быт «белых сестёр» (Монастырь и больница)

Попадая в обитель Санта-Чечилия, Анджела кардинально меняет бытовой уклад, переходя от роскоши к строгой дисциплине:

Келья и монастырское пространство: Простые каменные стены, прохлада, минималистичная обстановка (железная кровать, деревянный стул, распятие на стене). Отсутствие пышного декора символизирует освобождение от мирских сует и земной привязанности.

Служение и рутина: День сестёр милосердия подчинен строгому расписанию: утренние и вечерние молитвы, дежурства в больничных палатах, уход за тяжелобольными, перевязки и изготовление лекарств. Быт монахинь — это непрерывный труд и физическое самопожертвование.

Одежда и символика: Белоснежные облачения и покрывала ордена («белые сестры») требуют безупречной чистоты и опрятности, становясь визуальным выражением их духовной невинности и отрешения от светской моды.

3. Военно-полевой и колониальный быт (Джованни Севери)

Бытовой мир Джованни полностью противоположен утонченному Риму:

Армейские будни и экспедиции: Четкий распорядок гарнизонной службы, чертежи военных инженеров, палаточные лагеря и марш-броски.

Суровые условия Африки: Зной, скудный рацион, нехватка воды и опасности колониальной войны. Пленение Джованни добавляет элементы лишений и выживания в экстремальных условиях, что закаляет его характер, но делает его отрешенным от правил светского тона.

4. Еда, трапезы и социальные ритуалы

В палаццо: Формальные обеды и ужины с соблюдением сложного этикета, где за столом ведутся сдержанные светские разговоры, а подача блюд подчеркивает статус хозяев.

В монастыре: Общие скромные трапезы в трапезной, проходившие в тишине или под чтение духовных текстов, где еда воспринимается лишь как поддержание телесных сил для служения.

Глава I

— Ничего не могу поделать, — спокойно сказал Филмор Дюран. — Я пишу то, что вижу. Если портрет вам не нравится, я с величайшим удовольствием оставлю его себе.

Маркиза принялась возражать. Речь, по её словам, шла о сущем пустяке: что-то в глазах, в изгибе левой брови или в повороте шеи — она и сама не могла определить, что именно, — придавало её племяннице выражение религиозного восторга, совершенно ей несвойственное. Если бы мастер согласился хоть немного изменить это выражение, всё было бы прекрасно.

Но Филмор Дюран вместо того, чтобы согласиться, лишь довольно равнодушно улыбнулся и передал палитру и кисти слуге, уже стоявшему возле него наготове. Знаменитый американский портретист терпеть не мог всякого загромождения — столиков для красок, сосудов с кистями и тому подобных вещей — ничуть не меньше своего великого предшественника Ленбаха. Пока он работал, старый слуга по мере надобности подавал ему кисть, тюбик краски, мастихин или карандаш из отгороженной занавесью ниши, где всё лежало в полном порядке.

— А мне нравится именно так, — сказал Джованни Севери.

Он сидел, положив руки на эфес сабли, и задумчиво переводил взгляд с портрета на оригинал.

Девушка улыбнулась, довольная его одобрением. Сходство и самой ей казалось удачным, хотя художник нисколько ей не польстил. Напротив, на портрете она выглядела старше и гораздо печальнее. Когда она смотрела на офицера, с которым, по общему мнению, была помолвлена, в её глазах смеялась весна; на холсте эти же глаза были глубокими и серьёзными. Некоторые неправильности черт тоже проступали на картине заметнее, чем в жизни. Особенно различались тёмные брови: правая образовывала безупречную дугу, а внутренний конец левой довольно резко взбегал ко лбу, словно не желая сближаться с соседкой. Маркиза дель Прато была совершенно уверена, что тонкий нос Анджелы в действительности вовсе не имел того орлиного, почти аскетического очертания, которым наделил его великий мастер.

Впрочем, этой немолодой даме едва ли не хотелось, чтобы всё обстояло именно так. Из всех возможных судеб племянницы её больше всего устроило бы внезапно обнаружившееся монашеское призвание, вслед за которым девушка как можно скорее скрылась бы в каком-нибудь ордене. Но это представлялось маловероятным, а мириться с другим исходом — браком Анджелы и Джованни Севери — маркиза тоже не собиралась: офицера она давно считала своей личной собственностью.

Филмор Дюран быстро оглядел всех троих, погладил довольно жёсткие усы и закурил. Не потому, что ему хотелось курить, а потому, что он не мог иначе, — а это совсем не одно и то же. Потом он посмотрел на картину и забыл, что находится с ней не наедине. Она всё ещё по-своему нравилась ему, хотя удовлетворения от сделанного он не испытывал.

Великие художники и великие писатели редко мучаются теориями. Одна из главных особенностей зрелого гения состоит в том, что он переходит прямо от замысла к воплощению, почти не задумываясь о средствах. Человек, десяток лет работающий одними и теми же инструментами, вряд ли возьмёт резец не тем концом или станет колебаться, выбирая нужный для очередного удара; тем более он не станет, как говорится, бить из пушки по воробьям. Его неугомонный ум открыл новое, поразительное соотношение между правдой и красотой; следующий шаг — выразить это соотношение в глине, в красках или в словах.

За работой он редко останавливается, чтобы поразмыслить или подвергнуть критике ещё не завершённое произведение. В такие минуты он слишком уверен в себе, чтобы медлить, а главное — слишком счастлив. Ведь всё подлинное счастье, которое даёт ему искусство, заключено именно здесь: между мучительно тревожным брожением первоначального душевного хаоса и тем более или менее острым разочарованием, которое неизбежно наступит, когда законченное произведение окажется несовершенным, как всё человеческое.

Именно в этом стремительном движении от одного состояния к другому он радуется своей силе, верит в талант и мечтает о бессмертной славе. Тогда он чувствует себя царём среди людей и пророком человечества. Но именно в эти минуты его называют тщеславным, надменным и самодовольным те, кто не понимает ни предшествовавших терзаний, ни того отрезвления, которое наступит достаточно скоро, когда рука остановится и холодный рассудок измерит расстояние между совершенным идеалом и достижимой действительностью. Более того: чем менее заметно несовершенство окружающим, тем значительнее оно обычно кажется самому великому художнику.

О Дюране часто говорили, что его портреты пророческие. Не реже утверждали, что кисти служат ему ножами и скальпелями, которыми он препарирует характеры своих моделей на холсте, словно анатомические препараты.

— Ничего не могу поделать, — неизменно отвечал он. — Я пишу то, что вижу.

Он не был виноват в том, что хорошенькая донна Анджела Кьяромонте в самый первый свой приход в мастерскую набросила на тёмные волосы белую вуаль — просто посмотреть, как это будет выглядеть. Не был он виноват и в том, что она при этом стояла возле алтаря с запрестольным образом начала пятнадцатого века, которые он недавно купил и установил в одном конце большого зала, где работал. Не его вина, что вуаль легла по обе стороны её лица, будто монашеский головной убор; что глаза девушки в ту минуту потемнели от случайной игры света или перемены выражения; что нежные губы словно опечалила мимолётная мысль.

Больше она вуали не надевала. И художник вовсе не хотел, чтобы предчувствие страдания, принятого с духовным восторгом, омрачало на портрете её радостную юность. Но однажды он увидел этот образ, и тот против воли художника вновь возник под кистью — словно был неотвратимой истиной, поверх которой внешнее выражение лица ложилось прекрасной маской. Тот, кому хоть раз открылась эта истина, уже не мог не различать её.

Живописец молча созерцал свою работу из олимпийского облака табачного дыма, почти скрывавшего его от остальных. Тем временем гости обменялись несколькими словами по-ита-

льянски, а этот язык он понимал лишь наполовину. С ним они говорили по-английски, как с французом говорили бы по-французски и, вероятно, даже с немцем по-немецки: современное римское общество обладает замечательным даром к языкам и многими другими достоинствами.

— Знаете, что кажется мне самым удивительным? — сказала маркиза дель Прато, ненавидевшая хорошенькую племянницу своего мужа. — Что он не превратил вас в картину Карло Дольчи, моя дорогая. С вашим лицом это было бы так легко!

Руки Джованни Севери чуть шевельнулись, и ножны сабли резко звякнули о шпору. Он был от природы нетерпелив и порывист — это всякий мог прочесть на его лице: худощавом, с решительно очерченными чертами. Щёки потемнели скорее от солнца и ветра, чем от рождения. В коротких каштановых волосах вспыхивали рыжеватые отблески; небольшие, но густые усы были усами человека довольно светлого от природы, долго жившего под солнцем и ветрами жаркой страны. Римский нос придавал лицу энергию, рот был прямым и довольно жёстким. И всё же мало кто счёл бы его внешность примечательной, если бы не глаза, сразу выдававшие его натуру.

В них было больше пыла, чем простой смелости. В тёплой красновато-карей радужке рассыпались золотистые точки: на солнце они искрились отражёнными лучами, а когда он сердился, словно загорались собственным огнём. Будь его взгляд менее открытым и прямым, выдавай другие черты хоть какую-нибудь дурную склонность, смотреть в такие глаза было бы, пожалуй, невыносимо неприятно. Но теперь они лишь предупреждали каждого: перед ним человек редкий и опасный, способный дойти до крайности, если убеждён в своей правоте, и совершенно неспособный в гневе ни оценивать опасность, ни думать о последствиях.

Джованни Севери было около двадцати восьми лет. На нём красовался мундир артиллерийского офицера, служившего при штабе. Замечание маркизы ему не понравилось, и нетерпеливый звон ножен о шпору лишь на секунду предварил ответ:

— К счастью для Анджелы, мы не в мастерской карикатуриста.

Маркиза, умевшая при случае становиться близорукой, поднесла к глазу лорнет в черепаховой оправе и вызывающе посмотрела на него. Но он встретил её взгляд так твёрдо, что вскоре она отвернулась.

— Вы чрезвычайно грубы, — холодно сказала она.

Дело в том, что маркиза сама рисовала искусные акварельные карикатуры и прекрасно поняла намёк Джованни. Мать Анджелы была женщиной глубоко набожной и умерла молодой, однако успела навлечь на себя ненависть маркизы: она вышла замуж за человека, которого та предназначала себе, — за старшего из двух братьев. Маркизе же пришлось нехотя согласиться на младшего, чей титул звучал гораздо скромнее, а состояние было значительно меньше.

Она мстила мелкими уколами и нередко выставляла жену деверя на посмешище, изображая её истощённой средневековой святой, застывшей в судорожных позах религиозного восторга, с впалыми щеками и глазами, похожими на блюдца с чернилами. Джованни, как и многие другие, видел некоторые из этих рисунков: злопамятная маркиза не уничтожила их и после смерти княгини Кьяромонте. Но пока ещё никто не оказался настолько жесток, чтобы рассказать о них Анджеле.

Девушка, правда, не любила тётку — жену своего дяди. Однако при удивительно простом и счастливом нраве, совершенно чуждом тщеславию, она, казалось, унаследовала почти святое терпение матери. Нападки маркизы Анджела переносила с весёлой покорностью, которая раздражала ту куда сильнее, чем могли бы раздражать вспышки дурного настроения.

И сейчас, заметив, что назревает какая-то неприятность, девушка отвлекла всех: сошла с невысокого передвижного помоста, на котором стоял её стул во время сеансов, и заговорила с художником, разглядывая собственный портрет. Дюран был очень худ и так высок, что стоявшей рядом Анджеле приходилось далеко запрокидывать голову, чтобы видеть его лицо.

— Мне никогда не стать такой хорошей, какой я выгляжу на картине, — сказала она по-английски, слегка смеясь. — И такой ужасно серьёзной! Но очень мило с вашей стороны думать, что я могла бы такой стать.

— Вы всегда будете хорошей, — ответил Филмор Дюран. — А серьёзное отношение к этому вовсе не обязательно должно быть ужасным.

— Вы, я вижу, моралист, — заметила маркиза.

С приторной улыбкой она поднялась и подошла к ним; Джованни последовал за ней.

— Не знаю, — ответил художник. — А что такое моралист?

— Человек, который серьёзно относится к чужой нравственности, — весело подсказала Анджела.

— Вот как! — воскликнула маркиза, особенно отчётливо выговорив английские слова. — Можно подумать, вас воспитывали в масонской ложе!

Если учесть, что отец Анджелы принадлежал к числу последних непримиримых сторонников папской власти, это было самое язвительное замечание, какое маркиза могла придумать. Но Филмор Дюран не понял, в чём острота.

— Какое отношение масонство имеет к нравственности? — спросил он с безмятежным удивлением.

— Никакого, — живо ответила маркиза. — Потому что это религия дьявола.

— Вот как! — Художник улыбнулся. — Какие сильные предубеждения у вас в Риме!

— Вы масон? — спросила знатная дама с явным беспокойством.

Она взглянула на художника, затем на Анджелу и наконец на дверь.

— Ну… нет, не масон, — признался он, чуть растягивая слова и явно забавляясь. — Но ведь и не моралист. Хотя, полагаю, я мог бы быть и тем и другим и всё равно писать приблизительно так же.

— Не думаю, — так чопорно отозвалась маркиза, что Джованни едва не расхохотался. — Нам пора, — добавила она и вдруг снова стала любезной. — Какая привилегия — день за днём видеть вас, дорогой мистер Дюран, наблюдать за вашей работой в привычной вам обстановке! Мой деверь придёт завтра. Не сомневаюсь, портрет ему очень понравится.

Филмор Дюран с вежливой, но равнодушной улыбкой склонился над её рукой. Ему было совершенно безразлично, понравится ли картина отцу Анджелы: сам он был в неё влюблён и гораздо больше хотел оставить её себе, чем получить за неё деньги.

— Когда я снова увижу вас? — почти шёпотом спросил Джованни у Анджелы, пока говорила маркиза.

Вместо ответа девушка покачала головой: сразу решить она не могла. Но, встретившись с ним взглядом, на мгновение залилась нежным румянцем, словно в её лице отразился розовый свет ясной зари. Глаза молодого офицера вспыхнули. Он шумно втянул воздух и тут же прикусил верхнюю губу, будто хотел сдержать и этот звук, и породившее его чувство.

Анджела услышала и заметила всё. Она понимала, что его волнует, — насколько почти детская простота способна угадывать то, что сильнее всего трогает зрелого мужчину. Теперь девушка была ещё меньше похожа на портрет, чем мгновение назад. Чуть приоткрытые в улыбке, наполовину томительной, наполовину тревожной, губы походили на тёмные лепестки розы, влажные от росы; веки на миг опустились у внешних уголков глаз, а тонкие, просвечивающие крылья носа дрогнули от таинственного волнения, охватившего всё её девичье существо.

Они знали друг друга меньше года. Анджела впервые увидела Севери лишь после того, как покинула монастырь, где воспитывалась, вышла в свет и заняла место единственной дочери за столом овдовевшего отца. Но уже при первой встрече Джованни почувствовал: ни одна из знакомых ему женщин не отзывалась его природе так, как эта девушка, — тем властным зовом, каким одно существо узнаёт предназначенное ему другое.

Поначалу она вовсе не сознавала своей власти. Долгое время он напрасно искал хотя бы слабейший внешний признак волнения, когда она замечала его среди гостей в переполненной гостиной или неожиданно встречала на прогулке по вилле со старой гувернанткой, превосходной мадам Бернар, либо во время верховой поездки по Кампанье вместе с отцом.

Служба не слишком обременяла Джованни, свободного времени было достаточно. Настойчивость, с которой он находил Анджелу, могла бы повредить её репутации, не проявляй он столько изобретательного такта. Встречаться в обществе тоже было нелегко. Несмотря на недавние перемены в светской жизни, князь Кьяромонте всё ещё держался устарелой политической мифологии «чёрных» и «белых» и строго избегал семей, которых упорно именовал «либералами», — на том основании, что так называл их его отец ещё в 1870 году, когда сам он был маленьким мальчиком.

Лишь окончательно изнемогая от скуки в добросовестных попытках вывозить дочь в свет, князь попросил невестку помочь ему, хотя знал: ни она, ни его брат в глубине души не разделяют его приверженности церковной партии. Если бы ему хоть на миг стало ясно, что Джованни Севери решил жениться на Анджеле — или не жениться вовсе, — князь предпочёл бы вечер за вечером терпеть самые жестокие муки скуки, только бы не доверять дочь маркизе.

Но такая мысль ему и в голову не приходила. Он с негодованием отверг бы предположение, будто Анджела осмелится поощрять молодого человека, которого он официально не одобрил. И пока дочь почти ежедневно виделась с Джованни и почти каждый вечер танцевала с ним, её отец неторопливо договаривался о подобающем браке со старшим сыном своих друзей — почти столь же ревностных и непримиримых сторонников церковной партии, как он сам.

Молодой человек был вялым вырожденцем с бледным лицом, безвольным ртом и наследственной немощью, заставлявшей его засыпать где угодно, если только не происходило чего-нибудь особенного, способного удержать глаза открытыми. Он не только с тупой неизменностью спал каждую ночь с десяти вечера до девяти утра, но и погружался в сон всюду, где садился: в церкви, за обедом и даже в экипаже.

Ни его родители, ни князь Кьяромонте не считали это серьёзным препятствием для женитьбы. Человек, который спит весь день и всю ночь, избавлен от дурных соблазнов, вряд ли станет ворчать или ухаживать за соседской женой; следовательно, из него получится образцовый муж. Летом, когда он уснёт в гостиной, супруга сядет рядом и будет отгонять мух; зимой позаботится укрыть его, чтобы не простудился; на мессе сможет колоть его шляпной булавкой, не давая задремать. Зато она будет носить одно из древнейших имён Европы, её муж окажется человеком строго религиозным и нравственным, а сама она будет очень богата. Чего ещё желать женщине?

Очевидно, ничего. Поэтому князь Кьяромонте продолжал вести переговоры о браке по старинному обычаю, ничуть не намереваясь сообщать о них Анджеле, пока семейные поверенные не уладят всё окончательно и свадьбу нельзя будет сыграть через шесть недель. Молодым людям не пристало проникать в намерения своих премудрых родителей. А пока Анджела могла ездить с тёткой на вечера, а предназначенный ей супруг — спать сколько душе угодно.

Переговоры, вероятно, должны были занять ещё месяца два или три: семейные поверенные разошлись во мнениях о том, сколько раз в день Анджеле позволят выезжать в экипаже. Это требовалось оговорить в брачном контракте, равно как число блюд за завтраком и обедом и вопрос о кофе: если Анджела станет пить его после еды, относить ли расходы на счёт мужа, который кофе не пьёт, или вычитать из доходов с её приданого?

Оба поверенных были глубокими стариками и досконально разбирались в таких сложных предметах. Однако ни один не считал бы, что исполнил долг перед доверителем, если бы не поспорил с другим по каждому пункту. Неделя за неделей они докладывали своим нанимателям об успехах, и в общем оба отца полагали, что дела идут хорошо, без чрезмерных проволочек.

Но судьба сурово хмурилась на этот брак и на всё, что с ним было связано. В то самое утро, когда Филмор Дюран заканчивал портрет Анджелы, прежде чем девушка успела покинуть его мастерскую в палаццо Боргезе, произошло событие, не только положившее конец неторопливым трудам обоих поверенных, но и глубоко изменившее всю её жизнь. Благодаря ему история Анджелы оказалась совсем не похожей на истории множества девушек, влюблённых в одного и принуждаемых родителями выйти за другого.

Если в нашем повествовании и есть что-нибудь занимательное, то заключается оно вовсе не в таком простом столкновении сил. Пока достаточно знать, что, покуда отец хлопотал о её замужестве, Анджела Кьяромонте полюбила Джованни Севери и, по существу, уже обещала стать его женой. Многие, в том числе маркиза дель Прато, догадывались об этом, но не сообщали своих подозрений отцу девушки — отчасти потому, что его не любили, отчасти потому, что он почти нигде не появлялся.

Таково было положение вещей, известное участникам этой истории в ту минуту, когда Великое Непредвиденное вырвалось из своего укрытия и обрушилось на них.

Провожая маркизу в переднюю, Филмор Дюран позвал слугу, чтобы тот отворил наружную дверь. Молодые люди шли следом. Почти в ту же секунду художник услышал голос слуги у телефона. Тот был швейцарцем, говорил по-немецки, по-английски и по-итальянски и много лет сопровождал хозяина. Очевидно, кто-то спрашивал маркизу; как раз в этот момент слуга услышал её шаги.

— Госпожа здесь, — сказал он. — Сейчас она сама подойдёт к телефону.

Когда все четверо приблизились, он обернулся. Аппарат стоял справа от большой двери, выходившей на лестничную площадку.

— Вас просят, ваша светлость, — произнёс он по-английски, протягивая маркизе трубку.

Она поднесла её к уху и повторила обычную итальянскую формулу:

— Слушаю. С кем я говорю? Да, я маркиза дель Прато, собственной персоной. Что случилось?

Наступила пауза. Маркиза слушала. Вдруг Анджела увидела, как изменилось её лицо.

— Умер? — вскрикнула она в трубку. — Полчаса назад?

Она всё ещё прижимала трубку к уху, но левой рукой уже искала опору. Дюран поддержал её за руку и локоть, готовый подхватить, если она лишится чувств. Анджела тотчас оказалась по другую сторону от неё.

— Кто умер? — довольно спокойно спросила девушка, но в голосе её слышалась явная тревога.

— Твой отец, — ответила маркиза с такой внезапной и жестокой прямотой, что Джованни шагнул вперёд, а Дюран изумлённо уставился на неё: итальянского он знал достаточно, чтобы понять эти слова.

Анджела медленно, машинально отступила на два шага, как слепой, неожиданно наткнувшийся на стену. И, словно слепой, протянула перед собой руки, будто хотела удостовериться, что препятствие осталось за пределами досягаемости. Лицо её побелело, глаза полузакрылись.

Маркиза, по-видимому, уже не нуждалась в поддержке и наблюдала за ней.

— Бедное дитя! — воскликнула она тоном привычного сочувствия. — Мне следовало подготовить тебя к этому известию…

— Несомненно, следовало! — сурово произнёс Джованни.

Он уже вёл Анджелу к одному из стульев с высокими спинками, стоявших вдоль тёмно-зелёной стены передней. Девушка села, опираясь на его руку.

— Попал под автомобиль почти у собственного дома, — тише сказала маркиза по-английски, слегка повернувшись к Дюрану. — Убит на месте! Какой ужас! Бедный мой деверь!

— Принесите бренди и холодной воды, — велел художник слуге, не сводя глаз с бледного лица девушки и её судорожно подрагивающих рук.

— Да, — подтвердил Джованни, с тревогой склонившийся над нею. — Скорее принесите что-нибудь! Она сейчас лишится чувств.

Но Анджела не теряла сознания и даже не была близка к обмороку. Ей казалось, будто что-то твёрдое ударило её между глаз, не сумев окончательно оглушить. Она попыталась подняться, но почувствовала слабость и немного подождала. Затем с усилием встала и выпрямилась перед тёткой, неподвижная, напряжённая, с широко открытыми теперь глазами.

— Идёмте! — сказала она почти повелительно, совершенно чужим голосом.

Через мгновение гости ушли, а художник уже стоял перед законченным портретом и заглядывал ему в глаза, словно живому существу. Случившееся глубоко потрясло его, и он искренне жалел Анджелу, хотя совершенно не знал, любила ли она отца. Но теперь, когда девушка ушла, лицо художника вновь стало спокойным и задумчивым. В нём появилось тихое удовлетворение, которого прежде не было.

Ему казалось, что картина — драгоценная действительность, а позировавшая девушка — всего лишь созданная природой копия, притом несовершенная. И, возможно, теперь эту действительность у него не отнимут: ведь князь Кьяромонте безвременно скончался. Перспектива сохранить полотно чрезвычайно радовала Филмора Дюрана.

Ни одна его работа ещё не приносила ему так мало разочарования; ни с одной ему не было так трудно расстаться. В последние день или два он даже подумывал написать для князя повторение, а оригинал оставить у себя: никакая копия, пусть исполненная им самим с величайшей добросовестностью, не могла бы вполне сравниться с первоначальной картиной. Теперь же, после смерти князя, наследники — если, кроме Анджелы, имелись и другие — могли с радостью отказаться платить крупную сумму за ненужный им портрет.

По поведению девушки он был уверен: обладать собственным изображением ей хотелось не больше, чем цветной открыткой с Колизеем или гипсовой копией одной из танцовщиц Кановы. Художнику это, разумеется, не льстило, но в данном случае он предпочёл бы сохранить картину, нежели услышать о ней самые восторженные отзывы.

Ближе к вечеру он остановился перед закрытыми воротами палаццо Кьяромонте и толкнул оставленную приоткрытой калитку. Внутри, у двери своей каморки, понуро стоял рослый привратник, уже облачённый в глубокий траур, который во всех знатных римских домах держат наготове. Художник на ломаном итальянском спросил, правда ли печальное известие. Привратник серьёзно кивнул и указал на ворота. Их не закрыли бы, если бы хозяин не умер.

Дюран спросил о донне Анджеле, но привратник не был расположен к откровенности. Она приехала с тёткой, обе наверху — вот и всё, что он сообщил. Заподозрив в художнике иностранного газетного корреспондента, он больше не сказал ни слова.

Американец поблагодарил его и ушёл. В конце концов, он явился лишь затем, чтобы удостовериться в смерти князя, и сознавал, что единственной причиной этого визита было желание оставить у себя портрет.

Он неторопливо шёл по людным улицам, окутывая себя такими облаками табачного дыма, что прохожие удивлённо оборачивались. Февральское солнце уже клонилось к закату; близился Великий пост. В эту пору Рим бывает особенно весел, хотя старый карнавал давно умер и канул в прошлое — вместе с Пием IX, Гарибальди, французской военной оккупацией, ненавистью к иезуитам и всем тем, что превратило возрождение Италии в девятнадцатом веке в захватывающий роман, какого ещё не знали ни итальянские страсти, ни сочувствие остального мира.

Дюран был слишком молод, чтобы помнить те времена. Впервые он приехал в Рим, когда ему было уже почти тридцать и первая волна громкого успеха подняла его на своей вершине. Но он читал о прошлом, и для его незамутнённого взгляда, для живого воображения Рим всё

ещё оставался городом романтики, величайшим из городов — и древних, и современных. И почему-то, думая о своей картине, о лице Анджелы, вспоминая сцену у телефона, он чувствовал, что сам оказался у самой границы какого-то таинственного и трагического действия, пока непонятного ему, но, возможно, способного затронуть и его собственную жизнь.

«Мир наш — трагикомедия», — сказал он себе, медленно продвигаясь по Корсо.

Он вглядывался в лица встречных — ни одно лицо на улице не проходило мимо него незамеченным, — изредка останавливался перед витринами, где не было ничего такого, чего он не видел бы тысячу раз в других местах, курил сигарету за сигаретой, думал о портрете Анджелы и машинально повторял свою маленькую остроту. В голове она складывалась в подобие мелодии, обрастала вариациями и перестановками, лишёнными всякого смысла.

«Мир наш — трагикомедия. Мир наш — комитрагедия. Серьёзный мир комических трагедий. Мирская трагедия серьёзной комедии».

И так далее, и тому подобное. Хорошенькие и не очень женщины этого трагикомического мира, чьи портреты он написал, более или менее выдающиеся мужчины, когда-то ему позировавшие, проходили мимо гения и приветствовали его так, словно им было приятно показать окружающим своё знакомство с ним. Но они были бы потрясены, если бы услышали, какую нелепицу великий живописец машинально твердит про себя, праздно бредя по тротуару и размышляя о картине, которую надеется сохранить и уже считает своим шедевром и главным сокровищем.

Глава II

Добрейшая мадам Бернар была гувернанткой Анджелы ещё до того, как девочку отдали на воспитание в монастырь Тринита-деи-Монти. Потом она занималась с ней всякий раз, когда та приезжала домой на каникулы, а также в короткий промежуток между окончанием учения и первым появлением в свете. Впоследствии, в зиму, предшествовавшую смерти князя Кьяромонте, она сопровождала оставшуюся без матери девушку на концерты и почти ежедневно гуляла с ней по утрам.

Она принадлежала к тем вполне надёжным, здравомыслящим, хорошо образованным француженкам среднего сословия, каких немало встречается в провинции, хотя в Париже этот тип редок. Ей было около пятидесяти. Уже двадцать лет она жила в Риме, всё в той же маленькой квартире на благопристойной улице Трастевере. Там имелась свободная комната, которую она охотно сдавала какой-нибудь небогатой француженке или англичанке, приезжавшей в Рим на несколько зимних и весенних месяцев.

В день катастрофы Анджела послала за мадам Бернар свою горничную: тётка не предлагала тотчас взять племянницу к себе и вообще, казалось, не собиралась обсуждать её дальнейшую судьбу.

Правда, уже через час после смерти деверя маркиза взяла в свои руки все дела в палаццо Кьяромонте. Она сама заперла ящики его личного письменного стола, вызвала нотариуса и велела по обычаю опечатать двери внутренних покоев «от имени наследников». Переговорила с распорядителем похорон и позаботилась обо всём необходимом, чтобы следующую ночь и день тело покойного, как полагалось, было выставлено для прощания. Проследила за устройством временного алтаря, у которого шестнадцать священников, сменяя друг друга, должны были почти непрерывно служить заупокойные мессы с полуночи до полудня. Подробно распорядилась, чтобы до похорон слуги-мужчины дежурили посменно днём и ночью. И наконец удалилась, доказав, что она женщина чрезвычайно практичная.

Уходя, маркиза обеими руками прижимала к глазам платок и забыла свой зонтик. Но уже у калитки — экипаж ожидал снаружи, поскольку ворота были закрыты — она вспомнила о нём и послала лакея обратно за зонтиком и маленькой сафьяновой сумочкой, в которой носила платок и визитницу.

Пустяк, однако и привратник, и лакей, и дворецкий наверху впоследствии его припомнили. Сам лакей, спускаясь по лестнице, потрудился заглянуть в сумочку и увидел там только визитницу: ничего другого не было. Иногда маркиза носила в ней особые маленькие сигареты, которые он находил превосходными. Но сегодня не оказалось ни одной.

Мадам Бернар приехала в слезах. Она была сердечной женщиной, и сочувствие к одинокой девушке переполняло её. Анджела сидела возле небольшого камина в своей маленькой утренней гостиной на верхнем этаже. Рядом кто-то поставил поднос с едой — она не знала кто, — но девушка ни к чему не притронулась. Глаза её оставались сухими, руки горели, а когда она вообще ощущала что-либо, то чувствовала головную боль.

Она забыла, что посылала за гувернанткой, и смотрела на неё с неопределённым удивлением, словно принимала добрую француженку в чёрном за новую тень в своём сне.

Постепенно вернулась способность машинально понимать происходящее, хотя сколько-нибудь отчётливых чувств по-прежнему не было. Анджела во всём подчинилась мадам Бернар, ни в чём не сопротивляясь и ничего не предлагая. Она даже позволила кормить себя, как маленького ребёнка, — крошечными кусочками пищи, совершенно лишённой для неё вкуса.

Через некоторое время в комнате появилась портниха с помощницей. Слуги внесли несколько больших картонок, крышки которых были обтянуты чёрной клеёнкой. Пришла и горничная Анджелы. На девушку стали примерять одну вещь за другой — готовые платья на первые часы траура. Потом все ушли. Анджела оказалась одета в чёрное, а комнату наполнил особенный, ни на что в мире не похожий запах чёрного крепа.

Снова прошло какое-то время. Теперь она стояла на коленях у молитвенной скамьи в большом зале внизу. Тёмная ширма скрывала её от тех, кто входил и преклонял колени перед ограждением, отделявшим дальнюю часть зала от ближней. Сама она тоже ничего не видела — ничего, кроме мальтийского рыцаря в чёрном плаще с большим белым мальтийским крестом на плече. Он лежал на спине и спал. По обе стороны от него в серебряных подсвечниках выше человеческого роста горели шесть огромных восковых свечей — по три с каждой стороны.

В самой глубине зала, шагах в пяти от неподвижной головы рыцаря, перед чёрным алтарём стояли на коленях трое священников в чёрных с серебром облачениях. Тихими, однообразными голосами они читали покаянные псалмы, чередуя стихи; священник посередине начинал, двое других отвечали. Анджела машинально присоединялась к ответам, но так тихо, что никто её не слышал.

Рыцарь был похож на её отца — только и всего. Возможно, она видела лишь восковое изображение или призрак в том долгом сне, начало которого уже не могла толком вспомнить. Она знала, что ничего не значит для этого изображения и оно ничего не значит для неё.

Губы повторяли величественную погребальную песнь царя-поэта в благородных старинных латинских словах святого Иеронима, а мысли тянулись оборванными нитями. Каждая обрывалась у вопроса, на который нет ответа, у загадки, с начала времён обращённой человеком к небу, морю и земле: что всё это значит?

Что это могло значить? Бессмысленные факты были совершенно ясны. Утром она видела отца, по старинному обычаю поцеловала ему руку; он поцеловал её в лоб, и они, как всегда, обменялись несколькими словами. Она помнила, как в тысячный раз пожелала, чтобы голос его хоть немного смягчился, чтобы он обнял её и прижал к себе.

Но он оставался таким же, как всегда: его сковывали тяжёлые, негнущиеся доспехи условной праведности. Из истории Анджела знала о пуританах. Англичанин, пожалуй, улыбнулся бы, узнав, что самого сурового из них она не могла вообразить более последовательным пуританином, чем её отец, с детства воспитанный священниками.

Но, каким бы он ни был, ещё утром это был её отец. А неподвижная фигура мальтийского рыцаря на чёрном бархатном покрове не была ни им, ни его подобием, ни вообще чем-

нибудь человеческим. Это было зримое присутствие смерти; немая вещь, которая знала ответ на загадку, но не могла его произнести. В известном смысле она сама и была этой загадкой.

Пока полуоглушённый разум девушки спотыкался на краях бездн, поглощавших величайшие умы, губы бессознательно повторяли покаянные псалмы вслед за священниками у алтаря. В монастыре она немного гордилась тем, что знала их наизусть лучше самих монахинь: память у неё была хорошая, и её нередко бранили за гордость этим даром.

Не её вина, что в самый торжественный час жизни благородная поэзия ничего ей не говорила, хотя в последний раз, когда она произносила эти слова, их глубокое человеческое звучание трогало её до глубины души. Теперь, перед лицом загадки без ответа, ничто ничего не значило. Только ответ мог иметь смысл.

Великий апостол современной мысли поставил три вопроса: что я могу знать? Что я, как разумное существо, должен делать в жизни? На что смею надеяться за её пределами?

Анджела никогда даже не слышала о Канте. Она спрашивала только, что всё это значит. А мальтийский рыцарь молчал в ровном жёлтом свете шести восковых свечей. Возможно, ответом был белый крест на его плаще, но этот знак был слишком далёк от слов, чтобы простой человек мог его понять.

Ей хотелось, чтобы рыцаря унесли. Он не был её отцом. Молиться одной в своей комнате она смогла бы гораздо лучше, чем в величественном присутствии того единственного властелина, которого страшатся все живые существа: люди, птицы, звери и всё, что живёт в море.

Молиться — да. Но о чём?

Восставая против всего внешнего, девушка в глубине души чувствовала: отец теперь совершенно отделён от своего смертного образа. Он внезапно оставил всё, что могло изменяться, и стал частью неведомой истины, которая, если она истинна, должна быть неизменной. Невидимый, не имеющий ни формы, ни размеров; не «живущий», а «сущий», не «воспринимающий», а «сознающий», не «видящий», а «знающий», не «бессмертный», а «вечный».

Возможно, в этом и заключался ответ. Но он означал слишком многое, чтобы девушка могла его постичь, и объяснял слишком мало, чтобы утешить. Нити мысли снова обрывались, губы Анджелы продолжали складывать слова, а сама она, не мигая, смотрела в бесстрастное лицо рыцаря.

Внезапно разум её вновь пробудился — словно во мраке, полном ужаса. Губы на некоторое время перестали двигаться: ей стало страшно.

Есть ли что-нибудь по ту сторону? В самом ли деле Бог в одно мгновение отнял у неё отца — или его убила слепая сила, нанёсшая удар во тьме? Если ответ таков, что тогда остаётся?

Чуткая девушка задрожала. Пожалуй, никакая телесная опасность не заставила бы её так похолодеть. Холод зародился в голове, быстро пробежал к рукам, а затем к ногам. На неё обрушился не страх смерти и не страх перед чем-либо внешним.

Потерять жизнь — ничто, если за нею небеса. Боль, пытка, мученичество — ничто, если по другую сторону ждёт благой Бог. Вся жизнь — лишь долгая возможность грешить; лишиться её в состоянии благодати — значит обрести вечную безопасность. Так её учили, и до сих пор она этому верила.

Но какая утрата могла сравниться с утратой Бога?

В мире, конечно, существовали неверующие. Однако она не понимала, как они могут продолжать жить, смеяться, искать наслаждений и остро чувствовать их. Чем заполняют пустоту своей чудовищной потери? Ведь не верить — значит не надеяться. Навеки лишиться надежды — удел проклятых. А жить на земле без надежды — значит уже здесь терпеть адские муки.

Теперь она чувствовала их.

— Муки ада объяли меня, — простонала девушка, уже не слушая священника.

Тьма поднималась вокруг неё, словно прилив. Она закрыла глаза, пытаясь не впустить её: воля боролась за надежду так, как тело боролось бы с водой, спасаясь от гибели. На неё надвигался уже не просто вопрос — сама погибель.

На этот раз всё миновало, и она вновь успокоилась.

Неверие — грех. А против всякого греха должны помочь молитва и твёрдая воля. Воля у неё была. Множество молитв она тоже помнила и могла произносить их горячо и искренне. Теперь она благодарила свою память, хранившую молитвы на каждый случай повседневной и духовной жизни.

С детства церковные службы и песнопения доставляли ей тихую радость. И теперь, когда она молилась словами, которые всегда любила, привычка возвращала веру, рассеивая мрак. Девушка ещё ощущала леденящий холод внешней ночи, подступившей совсем близко; но теперь не пускала её к себе и согревала бедную маленькую душу жаром молитвы, пока не почувствовала, что вновь возвращается к жизни и надежде.

Наконец она открыла глаза и увидела, что ничто не изменилось. Мальтийский рыцарь продолжал спать — так ему предстояло спать вечно. Священники неподвижно стояли на коленях перед чёрным алтарём. Их тихие однообразные голоса всё так же произносили покаянные псалмы — как произносили их священники по меньшей мере пятнадцать столетий.

Анджела прислушалась, уловила слова и снова начала отвечать. И вновь мысли её потянулись оборванными нитями.

Несомненно, согласно всему, чему её учили, отец уже был на небесах. Ни один человек не мог бы строже исполнять все писаные и неписаные предписания своей религии, чем исполнял их он, сколько она себя помнила.

Он был суров почти до жестокости, но к самому себе относился с такой же непреклонной строгостью. Неукоснительно постился — не только тогда, когда пост был предписан, но и добровольно, когда остальные ограничивались воздержанием от скоромного. Ни одного дня не начинал без мессы, ни одной недели — без исповеди и причастия. Во время Великого поста удалялся для духовного уединения. Молился рано утром и поздно вечером. В отношениях с людьми не делал другим того, чего не желал бы себе; не говорил о ближнем того, чего не сказал бы о себе самом; никого не обижал. Щедро жертвовал на благотворительность, а ещё больше — «заточённому» главе Церкви.

Он жил так, что ни один духовник не мог бы по справедливости найти в нём изъян, и неизменно молился о тех, в ком замечал какой-либо недостаток.

Кто осудил бы такого праведника? Уж конечно, не Бог. Следовательно, когда жизнь его так внезапно оборвалась в то утро, душа была принята прямо на небеса.

Если даже подобной праведности предстояло искупать простительные грехи, какая надежда оставалась людям с обычными земными страстями и слабостями?

Эта мысль утешала, говорила себе Анджела, теперь, когда прилив тьмы отступил в ту глубину ужаса, откуда поднялся. И когда наконец долгий сон начал медленно рассеиваться перед возвращавшейся действительностью, глаза одинокой девушки наполнились простыми человеческими слезами. Она подумала, что неподвижные губы отца уже никогда не шевельнутся, даже чтобы сделать ей выговор, и что она в последний раз смотрит на всё, что осталось на земле от человека, давшего ей жизнь.

Глава III

Три дня спустя Анджела одна сидела в своей утренней гостиной и читала письмо Джованни Севери.

Теперь всё было кончено: прощание с покойным, отпевание в маленькой приходской церкви, погребение на кладбище Сан-Лоренцо. Покойный князь устроил там временную усыпальницу для себя и семьи, подчинившись лишь поневоле: новые городские правила не позво-

ляли даже столь значительной особе быть похороненной в черте города, в собственном фамильном склепе при церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Но он был уверен: пусть даже сам он не доживёт до восстановления светской власти папы, останки его вскоре торжественно перенесут в город, к праху предков. И воскреснуть он надеялся из гробницы, более соответствующей его земному положению и духовным достоинствам, чем кирпичный склеп на общем кладбище, в какой-нибудь сотне ярдов от трижды проклятого крематория и от неосвящённого участка, отведённого масонам, анархистам, протестантам и евреям.

Впрочем, нельзя по справедливости упрекать человека за желание покоиться рядом с предками. И если князь Кьяромонте не сумел понять, что в современном параллелограмме сил судьба Италии переросла мирское господство Ватикана, это, несомненно, было скорее ошибкой суждения, чем пороком намерений. Он никогда не изменял своему идеалу и ни разу добровольно не подчинился закону, установленному «узурпатором».

— Этот достойнейший Кьяромонте до чрезвычайности предан церковной партии, — однажды с тихой улыбкой заметил папа Лев XIII своему секретарю.

Но Анджела постоянно тосковала по отцу. Она не понимала, что он последовательно приучал её видеть в нём судью и властелина всей своей жизни, и потому немного удивлялась, почему ей почти недостаёт его сдержанного кивка, сурово нахмуренных бровей и даже ежедневных, ежечасных замечаний, против которых она так часто внутренне восставала.

Мадам Бернар поселилась во дворце с самого дня несчастья. Она была воплощённой добротой, внимательной и предусмотрительной. И всё же с утра до вечера девушка чувствовала себя несчастной и одинокой. А во сне ей являлись лицо мёртвого мальтийского рыцаря, жёлтый свет восковых свечей и голоса священников.

На четвёртый день пришло письмо от Джованни — первое, какое она когда-либо от него получала. Она даже не знала его почерка и, прежде чем читать, посмотрела на подпись: кто написал ей так скоро?

Когда Анджела поняла, что это он, её мрак залил поток солнечного света. Яркое утреннее солнце и в самом деле уже целый час светило в окно, но до этой минуты девушка его не замечала.

Письмо не было любовным. Джованни прибегал к тем грамматически нелогичным, зато изысканно учтивым оборотам, которые делают литературный итальянский загадкой для иностранцев, усвоивших несколько сотен обиходных слов и вообразивших, будто понимают язык.

О себе он говорил в первом лице, о ней — в третьем лице единственного числа. Начинал словами «Достопочтеннейшая донна Анджела», а в конце, после официальной формулы глубочайшего почтения, ставил полную подпись.

Она очень удивилась бы и, пожалуй, оскорбилась, если бы он выразился более фамильярно. Дома её воспитывали по самому старомодному в Европе своду правил, а в школе она подчинялась холодному уставу сестёр Святого Сердца. Поэтому любая непринуждённость в выражениях казалась ей оскорблением хороших манер. Она могла бы даже счесть её грехом, если бы позволила себе подобный тон в разговоре с мужчиной, ещё не ставшим её мужем.

С тех пор как Анджела научилась говорить, её заставляли обращаться к отцу в третьем лице единственного числа женского рода — точно так же, как теперь Джованни обращался к ней в письме. А если к Божеству она обращалась в менее церемонном втором лице множественного числа, то, несомненно, лишь потому, что итальянские молитвы были составлены во времена менее изысканные и учтивые, чем её собственное.

И всё же, несмотря на чопорную грамматику, Севери сумел написать такое, от чего щёки Анджелы порозовели, а глаза засветились. Например, он сообщал, что намерен навестить её сегодня же после полудня; чтобы не привлекать внимания у ворот дворца, он придёт в штат-

ском и надеется, что она не только примет его, но и отпустит ненадолго мадам Бернар, позволив ему поговорить с нею наедине.

Предложение было столь восхитительным и вместе с тем столь волнующим, что Анджела решила: в нём непременно кроется что-то предосудительное. Она тотчас попыталась испытать свою совесть; но та захлопнулась, словно вынутая из воды устрица, и притворилась совершенно бесчувственной, сколько девушка ни пыталась подобраться к ней с разных сторон.

Анджела оставила эти попытки — тем охотнее, что увидеть Джованни сегодня было совершенно невозможно, как ни заманчиво представлялось свидание. Тётка-маркиза прислала известие, что в четыре часа приедет с поверенным объяснить Анджеле её положение. Сколько они пробудут, сказать было нельзя.

Значит, следовало предупредить Джованни, чтобы не приходил. Просто отказать ему у ворот было бы недостаточно: он мог явиться как раз в ту минуту, когда подъедет маркиза, а это произвело бы самое дурное впечатление. Посылать горничную с запиской к молодому офицеру Анджела стыдилась, а доверить такое поручение кому-нибудь из слуг-мужчин не решалась. За советом она обратилась к мадам Бернар — единственной своей наперснице.

— Что же мне делать? — спросила она, всё рассказав. — В это время он обыкновенно бывает в Военном министерстве и, возможно, даже не зайдёт домой, прежде чем отправиться сюда. Боюсь, придётся всё-таки послать записку.

— Переодеться он непременно поедет домой, — ответила практичная француженка. — Но вам нет нужды писать. Я позвоню в Военное министерство и, если граф там, всё ему объясню.

Анджела недоверчиво посмотрела на неё.

— Но тогда слуга, который будет говорить по телефону, обо всём узнает.

— Слуга? Почему? Не понимаю. Я сама поговорю. Рядом никого не будет, никто не услышит.

— Сами? Отец никогда не умел, а мне ни разу не показали, как это делается. Вы уверены, что справитесь? Говорят, это очень сложно.

Мадам Бернар не удивилась: порядки палаццо Кьяромонте были ей известны. Но всё же улыбнулась и заверила девушку, что телефон вовсе не такой опасный прибор, каким ей его представляли.

— Однажды я попробовала сделать несколько стежков на швейной машине, — сказала Анджела, словно это что-нибудь объясняло.

— Телефон — совсем другое дело, — серьёзно ответила мадам Бернар. — Попросить графа прийти завтра в четыре вместо сегодняшнего дня?

Анджела помедлила и слегка покраснела.

— Как вы думаете… — начала она, но остановилась и снова заколебалась. — Он бы рассердился, я уверена…

Казалось, её внезапно что-то огорчило.

— Ваш отец? — спросила француженка, угадав её мысль. — Дорогая княжна…

— Ах, пожалуйста, не называйте меня так! — воскликнула Анджела. — Вы ведь никогда…

— Видите ли, теперь вы важная особа, дитя моё, — ответила мадам Бернар. — А я больше не ваша гувернантка…

— Зато вы мой друг, дорогая, милая мадам Бернар! Право, мне кажется, теперь вы у меня единственный друг!

И Анджела обвила руками шею маленькой женщины и горячо поцеловала её. Свежее лицо мадам Бернар просияло от удовольствия.

— Спасибо, моя дорогая, — ответила она. — А что до вашего отца, дитя моё, то он, несомненно, на небесах. Значит, теперь он судит вас по намерениям, а не по одной лишь видимости.

Эти немногие мудрые слова успокоили Анджелу. Правда, немного погодя она спросила себя, не изменяет ли памяти отца, позволяя кому-то утверждать, будто князь когда-нибудь судил её «по одной лишь видимости».

Но пока девушка размышляла об этом, мадам Бернар уже говорила по телефону с Джованни. Как и предполагала Анджела, он оказался в Военном министерстве и с готовностью ответил, что придёт во дворец завтра после полудня и попросит мадам Бернар принять его по делу. В конце концов, её делом было преподавать французский — об этом знали все слуги. И если они решат, что молодой офицер явился договариваться об уроках для себя или для приятеля, тем лучше.

Мадам Бернар от природы была практична, Джованни — находчив. Поэтому всё решилось в нескольких словах, к обоюдному удовольствию. Анджеле сообщили только, что он придёт. Она обрадовалась гораздо сильнее, чем хотела показать, и больше не упоминала о предполагаемом отцовском неодобрении.

В тот день она принимала маркизу дель Прато и поверенного внизу, во второй из парадных гостиных. Там было холодно, но Анджела так и не решилась приказать развести огонь: князь позволял топить камины только во внутренних покоях, а те всё ещё оставались под нотариальными печатями.

Комната обладала своеобразным величием. Массивная отделка, тяжёлая мебель и богатые парчовые портьеры — всё относилось к лучшей поре царствования Людовика XIV. На стенах висели четыре или пять превосходных картин. Самой большой был великолепный портрет одного из предков Кьяромонте кисти Ван Дейка. Здесь же находились «Святое семейство» Гверчино, ещё одно «Святое семейство» Бонифачо, «Магдалина с сосудом благовоний» Андреа дель Сарто и одна или две небольшие картины немалой ценности.

Но сейчас освещение было плохим: после чудесного утра день выдался холодным и дождливым, а в четыре часа зажигать лампы было ещё рано. Спустя несколько минут после назначенного часа слуга отворил дверь, отвёл портьеру и объявил:

— Её сиятельство княгиня Кьяромонте!

Услышав это имя, Анджела слегка вздрогнула. Последней княгиней Кьяромонте, переступавшей этот порог, была её мать. В своём уединении девушка даже не узнала, что дядя уже принял титул главы рода.

Лакей не обратил никакого внимания на тихого человека в чёрном, который следовал за княгиней, обеими руками прижимая шляпу к груди. На каждом шагу он слегка кланялся, словно приветствовал попадавшиеся по пути фамильные стулья. Анджела смутно припомнила его торжественно-подобострастное лицо.

Тётка словно стала выше и крупнее. Она наклонилась, чтобы церемонно поцеловать девушку в щёку, затем опустилась в одно из огромных старинных кресел. Поверенный почтительно устроился поодаль на мягком табурете, положив цилиндр на колени. Анджела села с краю жёсткого дивана, стоявшего прямо под портретом Ван Дейка, и стала ждать, когда заговорит тётка.

Княгиня, очевидно, подготовилась заранее: речь её была ясной, и довольно долго она говорила без остановки.

— У твоего дяди небольшой приступ инфлюэнцы, — начала она. — Иначе он приехал бы со мной. Я была бы только рада, если бы он сам мог объяснить тебе положение вещей, вместо того чтобы возлагать эту мучительную обязанность на меня. Тебе хорошо известно, дорогая Анджела, что твой отец всегда придерживался самых предубеждённых традиций непримиримой церковной партии. Его невозможно было убедить подчиниться хоть одному новому поста-

новлению итальянского правительства. По правде говоря, он, кажется, не вполне сознавал, что старый порядок исчез ещё в его детстве, а новый установился надолго, если не навсегда. Если бы он это понимал, то, уверена, поступал бы совсем иначе и моя нынешняя обязанность оказалась бы куда легче. Ты совершенно ясно это понимаешь?

Анджела была совершенно уверена, что понимает, и спокойно кивнула, хотя не представляла, какое отношение политические убеждения отца имеют к её теперешнему положению.

— Не сомневаюсь, — продолжала княгиня, — он воспитывал тебя в убеждении, что ты унаследуешь всё его состояние. Конечно, не титул: он естественным образом переходит к старшему наследнику мужского пола. Я права?

— О наследстве он никогда со мной не говорил, — ответила Анджела.

— Тем лучше. Мне будет легче объяснить твоё довольно необычное положение. Прежде всего я должна довести до твоего сведения, что, вступая в брак, твои отец и мать отказались явиться к мэру на Капитолий, хотя соответствующие правила к тому времени действовали уже несколько лет. Они были ревностными католиками и считали церковное благословение достаточным. По мнению твоего отца, пройти какую бы то ни было гражданскую церемонию — до венчания или после него — означало усомниться в действительности таинства брака.

— Разумеется, — согласилась Анджела, когда тётка умолкла и посмотрела на неё.

— Совершенно разумеется. — Глаза княгини странно заблестели, а поверенный беспокойно повернул цилиндр на коленях. — Ещё бы! К несчастью для тебя, однако, твой отец не просто пренебрегал муниципальным постановлением, как ему казалось. Он сознательно бросал вызов законам Италии.

— Что вы хотите сказать? — с некоторой тревогой спросила Анджела.

— Объяснять это очень тяжело, — ответила старшая женщина с блестящими глазами и неприятной улыбкой. — Но простая истина состоит в следующем: поскольку твои отец и мать не заключили гражданского брака — гражданского, ты понимаешь? — с точки зрения закона они вовсе не состояли в браке. И закон никогда не признает, что состояли!

Пальцы Анджелы сжали подлокотник старого дивана.

— Не состояли в браке? — воскликнула она. — Мой отец и моя мать не были женаты? Это невозможно, это чудовищно…

— Я сказала: не состояли в *законном* браке, — ответила княгиня. — Чтобы брак признавался законным, совершенно необходимо явиться к мэру на Капитолий и пройти гражданскую церемонию по всем правилам. Я права? — внезапно обратилась она к поверенному. — Это совершенно необходимо, не так ли?

— Совершенно необходимо, ваше сиятельство, — ответил законовед. — Иначе дети от такого брака не считаются законнорождёнными.

— Что это значит? — испуганно спросила Анджела.

— Это значит, — объяснила княгиня, — что в глазах закона ты не существуешь…

Анджела попыталась засмеяться.

— Но я существую! Вот она я, Анджела Кьяромонте, и могу засвидетельствовать, что жива!

— Анджела, но не Кьяромонте, — поправила княгиня, едва скрывая удовлетворение. — Мне прискорбно сообщать тебе, что твой дорогой отец отказался подчиниться даже правилу, обязывающему всех без исключения родителей заявлять о рождении детей. За отказ он заплатил большой штраф. Поэтому, когда твоё рождение внесли в городские книги, тебя записали подкидышем, родители которого не пожелали назвать себя.

— Подкидышем! Меня — подкидышем!

Анджела привстала в изумлённом негодовании, но почти тотчас снова села с недоверчивой улыбкой.

— Либо вы совершенно безумны, — сказала она, — либо зачем-то пытаетесь меня напугать. Только я не понимаю зачем.

Княгиня подняла светло-рыжие брови и посмотрела на поверенного, явно предлагая ему ответить за неё.

— Таково ваше положение, синьорина, — спокойно произнёс он. — К несчастью, у вас нет ни законного гражданского состояния, ни законного имени, ни каких бы то ни было прав на имущество его сиятельства князя Кьяромонте. В глазах закона он не состоял в браке с вашей матерью и отказался даже признать вас своим ребёнком, зарегистрировав ваше рождение в мэрии. В ваших интересах были наведены все необходимые справки. Вот заверенная копия записи, в которой вы значитесь подкидышем. Ваш отец всё же мог составить завещание в вашу пользу, синьорина. Поскольку законы о неотчуждаемом родовом имуществе более не действуют, его сиятельство мог оставить вам всё своё состояние — как недвижимость, так и движимое имущество, — хотя титулы и достоинства в любом случае переходят к его брату. Однако я обязан предупредить вас: подобное завещание могло бы оказаться недействительным, поскольку его сиятельство даже не признал вас юридически своей дочерью. До сих пор никаких следов завещания не обнаружено — ни у нотариуса покойного, ни у его поверенного, ни среди ценных бумаг, хранившихся у банкира. Остаётся некоторая возможность, что нужный документ найдётся в покоях, которые пока опечатаны. Но я считаю своим долгом сказать: не ожидаю обнаружить ничего подобного, когда завтра мы снимем печати в присутствии наследников и свидетелей.

Он умолк и посмотрел на княгиню, словно спрашивая, следует ли продолжать. Анджела опустила голову, прикрыла глаза ладонью и сидела совершенно неподвижно. Поверенный решил, что сейчас она разрыдается: он её не знал.

— Довольно, Кальви, — спокойно сказала княгиня. — Вы всё объяснили совершенно ясно и пока можете удалиться. Бедные известия, естественно, потрясли молодую особу. Полагаю, ей хотелось бы ненадолго остаться со мной наедине.

Синьор Кальви поднялся, глубоко поклонился княгине, едва склонил голову перед Анджелой и удалился, по-прежнему словно отвешивая поклоны каждому фамильному стулу на своём пути.

Девушка убрала руку от лица и проводила его взглядом с каким-то притуплённым любопытством. Меньше всего на свете она была склонна обижаться или подозревать кого-нибудь в намеренной грубости, но не заметить поведения поверенного было невозможно. В его глазах она вдруг обратилась в ничто и заслуживала не больше внимания, чем продавщица в лавке. Анджела достаточно понимала людей, чтобы не сомневаться: он рассчитывал заслужить этим одобрение княгини.

Та наблюдала за ней с удовлетворением, которое почти не пыталась скрыть. Маленькие руки, затянутые в чёрные перчатки безупречной посадки — хотя чёрные перчатки редко сидят так же хорошо, как остальные, — лежали крест-накрест на колене поверх неизменной кожаной сумочки. Княгиня откинулась на спинку огромного кресла; траур делал её безупречный цвет лица ещё ярче.

Никто не знал, насколько близка она к сорока годам: в Готском альманахе дата её рождения отсутствовала, была указана лишь дата замужества. Но замуж она вышла в 1884 году. Говорили, что ей никак не могло быть меньше семнадцати, когда родители привезли её в Рим и попытались выдать за старшего Кьяромонте. С тех пор как им удалось заполучить для дочери младшего сына, прошло двадцать лет; следовательно, меньше тридцати семи ей быть не могло. Зато цвет лица у неё был удивительный, и, несмотря на высокий рост, она сохранила фигуру и грацию юной девушки.

Несколько секунд после ухода поверенного Анджела не смотрела прямо на свою неприятельницу. Он затворил за собой дверь — негромко, но вполне слышно. Убедившись, что он уже не может услышать, девушка заговорила первой:

— Вы меня ненавидите. Что я вам сделала?

Княгиня не отличалась робостью, и удивить её было нелегко. Однако вопрос прозвучал так прямо, что она быстрым движением глубже откинулась в кресле. Светлые брови поднялись, в ясных глазах вспыхнул гнев.

— В этом мире, — сказала она, — правда всегда удивительна и чаще всего неприятна. Принимая во внимание то, что мне пришлось сообщить тебе о твоём положении, я вполне могу простить твою глупую выходку.

— Вы очень добры, — довольно спокойно ответила Анджела, но тон её княгине не понравился. — Только я просила не о снисхождении, а об объяснении, какой бы неприятной ни оказалась остальная правда. Что я сделала такого, за что вы меня ненавидите?

Княгиня презрительно рассмеялась.

— Слишком сильное выражение. Ненависть предполагала бы интерес к тебе и твоим возможным поступкам, а его я, уверяю тебя, совершенно не испытываю! Теперь, когда выяснилось, что ты даже не принадлежишь к нашей семье…

Не договорив, она снова рассмеялась и ещё выше подняла брови.

— Из ваших слов, — с немалым достоинством ответила Анджела, — я могу заключить только одно: будь ваша воля, вы выгнали бы меня на улицу.

— Закон сделает это без моего вмешательства, — отозвалась княгиня. — Если бы мой деверь хотя бы потрудился признать тебя своим ребёнком, пусть и не узаконив, ты имела бы право на небольшое содержание — возможно, на двести или триста франков в месяц, чтобы не умереть с голоду. Но он не оставил законного доказательства, что ты его дочь, и не состоял в надлежащем браке с твоей матерью. Поэтому ты ни на что не можешь претендовать — даже на имя! В сущности, ты нищий подкидыш, как только что объяснил Кальви.

— Вам остаётся лишь предложить мне милостыню, — сказала Анджела.

— Я вовсе этого не собиралась, — ответила княгиня со злобной усмешкой. — Мы обсудили всё с моим мужем и не видим, почему от него должны требовать, чтобы он содержал побочную дочь своего брата!

Анджела молча поднялась и спокойно направилась к двери. Но прежде чем она успела дойти, княгиня стремительно бросилась следом; чёрная суконная юбка с обильной креповой отделкой взметнулась театральным движением. Схватив девушку за запястье, она вернула её на середину большой комнаты.

— Я недолго тебя задержу! — воскликнула разъярённая женщина. — Ты спрашиваешь, что сделала мне, за что я должна тебя ненавидеть? Отвечаю: ничего, потому что ты — никто! Но я ненавидела твою мать! Она отняла у меня мужчину, которого я хотела, единственного мужчину, которого когда-либо любила, — твоего отца. И когда я вышла за его брата, то поклялась, что она за это заплатит. И она заплатила! Если она видит тебя сейчас, все небеса не осушат её слёз, потому что даже все небеса не в силах дать тебе имя, — ведь и имя на её надгробии ей по праву не принадлежит! Надеюсь, она тебя видит! О, надеюсь, не напрасно она постилась до обмороков, молилась до хрипоты и стояла на коленях в сырых церквах, пока не умерла от этого! Надеюсь, голодом и нытьём она всё-таки добралась до рая, смотрит сейчас вниз и видит, как её дочь выгоняют из моего дома — нищего подкидыша, которому придётся побираться! Надеюсь, и ты пребываешь в благодати, как она, и общение святых настолько сближает вас, что она может тебя увидеть!

— Вы безумны, — сказала Анджела, когда княгиня остановилась перевести дух. — Вы не понимаете, что говорите. Отпустите мою руку и постарайтесь прийти в себя.

Была ли княгиня действительно не в своём уме, что казалось вполне возможным, или всего лишь переживала один из своих частых припадков ярости, слова подействовали мгновенно. Она выпустила запястье Анджелы, выпрямилась и за несколько секунд овладела собой. Однако в её кошачьих глазах ещё тлел опасный огонь, когда она повернулась к окну, подставив лицо тусклому желтоватому свету угасавшего дня.

— Скоро ты убедишься, что я ничего не преувеличила, — сказала она, сменив недавнюю ярость ледяной холодностью. — Завтра в полдень снимут печати. Полагаю, никто не может помешать тебе присутствовать, если захочешь. После этого устраивай своё будущее, как сочтёшь нужным. Я посоветовала бы обратиться в один из двух монастырей, на которые мой деверь за свою жизнь растратил почти три миллиона франков. В одном из них тебя, несомненно, примут без приданого, и у тебя будет по крайней мере приличная крыша над головой.

Дав этот практический совет, княгиня Кьяромонте величественно удалилась. Анджела осталась одна и спрашивала себя, случалось ли прежде, чтобы на невинную девушку в её римском мире так внезапно обрушивалось подобное несчастье.

Очень медленно она вернулась к дивану и снова села под большим портретом Ван Дейка. Взгляд переходил с одного предмета на другой, словно девушка хотела составить опись вещей, которые казались ей своими потому, что принадлежали отцу. Но случившееся слишком ошеломило её, и связно думать она не могла.

Кроме того, хотя Анджела и не решалась ободрять себя этой мыслью, в глубине души она всё ещё была убеждена: произошла ошибка. Отец непременно оставил какой-нибудь документ; завтра его найдут среди бумаг, и всё это ужасное недоразумение рассеется.

Что до остального тёткиного рассказа, при ней никто никогда ни на что подобное не намекал. Но мадам Бернар должна знать правду. Мало что могло остаться неизвестным этой превосходной француженке, которая почти четверть века жила среди старых римских семейств и обучала их детей французскому. Она была очень сдержанна и, возможно, не пожелает говорить много, но правду в данном случае наверняка знает.

Лишь вернувшись наверх, в свою комнату, и пытаясь как можно точнее пересказать старой гувернантке всё услышанное, Анджела начала понимать, что произошло.

Мадам Бернар то ужасалась, то возгоралась праведным гневом, то проникалась глубочайшей жалостью. Сначала она не верила собственным ушам; поверив, призвала небесную кару на бесчеловечное чудовище, дерзнувшее называть себя женщиной, матерью и тёткой. Наконец она по-матерински обняла Анджелу и залилась слезами, обещая защитить её даже ценой собственной жизни. И если бы девушке угрожала телесная опасность, она действительно сдержала бы это обещание.

Втайне маленькая француженка размышляла также о безрассудстве и упрямстве покойного князя. Но из доброты и такта пока оставляла эти мысли при себе.

Вместо этого она объявила, что пойдёт посоветоваться с одним из светил юриспруденции: ещё недавно она давала уроки его дочерям, а сам он всегда был к ней очень любезен. Нелепо предполагать, говорила она, будто брат князя может выгнать Анджелу из дома, не обеспечив ей содержания, и притом щедрого — такого, которое сочли бы хорошим приданым. Четыреста тысяч франков — самый минимум. Коммендаторе служит судьёй в Апелляционном суде и знает всё. Ему даже не понадобится заглядывать в книги! У него в голове целая энциклопедия законов. Она отправится к нему немедленно.

Но Анджела покачала головой, глядя на небольшой огонь в старинном камине из красного кирпича. Теперь, когда она пересказала разговор, ей стало ясно: княгиня и поверенный должны были быть совершенно уверены в своей правоте, чтобы говорить так, как говорили.

Мадам Бернар всё-таки надела шляпу и пошла к судье, который ближе к вечеру обычно бывал дома. Анджела некоторое время сидела одна в сумерках и ворошила огонь очень ржа-

выми коваными щипцами, которым было не меньше трёхсот лет. Они привели бы в восторг любого собирателя древностей, но были так тяжелы и неудобны, что от них болели руки.

Ей вспомнился тёткин совет: попроситься в один из монастырей, обогатившихся благодаря отцу, где её примут без приданого.

Она знала оба. В обоих жили затворницы. Один помещался в мрачной средневековой крепости посреди города, выстроенной вокруг маленького сада, казавшегося таким же нездоровым, как землистое лицо старой настоятельницы с жёсткими волосками на подбородке. Другой занимал безобразное современное здание, вовсе лишённое сада.

Мысль о каждом из них вызывала у Анджелы одно лишь отвращение, близкое к ужасу. Она пыталась укорять себя за это: отец дал сёстрам столько денег и всегда называл их при ней «святыми женщинами».

Без сомнения, они были святыми. Несомненно, свят был и Антоний Фивейский, хотя делить с ним келью — или даже трапезу — было бы неприятно. Анджела чувствовала: если уж ей предстоит питаться хлебом, водой и салатом, то пусть к этой скудной пище прилагается хотя бы свобода.

Думать о замужестве, когда после смерти отца не прошло ещё и недели, разумеется, бессердечно. Но раз её принуждают заботиться о будущем, она уверена: Джованни женится на ней и без единого гроша, и с ним она будет совершенно счастлива. Пока Джованни жив, она может позволить себе смеяться над советами княгини. Завтра он придёт, она всё расскажет ему, а когда минует год траура, они поженятся.

Оставалось понять, что делать до тех пор: ведь было совершенно ясно, что скоро придётся покинуть дом, где она выросла.

Как все люди, никогда не сталкивавшиеся лицом к лицу с нуждой или хотя бы с чем-нибудь отдалённо похожим на бедность, Анджела смутно представляла, что для неё что-нибудь да устроится. Лишь когда она попыталась определить, что именно должно устроиться, сердце немного упало.

Но вскоре вернулась утешительная уверенность: всё это ошибка. А может быть, тётка просто выдумала всю историю, чтобы напугать её и заставить отказаться от своих прав.

Сейчас вернётся мадам Бернар — сияющая, довольная — и передаст слова учёного судьи: при нынешних просвещённых законах такая несправедливость и такой грабёж невозможны. И Анджела улыбнулась при мысли, что безумная женщина и подобострастный старый поверенный сумели так сильно её напугать.

Нет, несмотря на способность запоминать молитвы и литании, одна мысль о жизни в затворе вызывала в ней отвращение. Подобно большинству девушек, получивших строго религиозное воспитание, она не раз воображала, будто в ней вот-вот обнаружится призвание к монашеству. Но здравомыслящий духовник выбил у неё это из головы: он сразу распознал в её душевном состоянии те приступы девичьей грусти, которые на день или на неделю меняют облик юной жизни, как тень проходящего облака омрачает залитый солнцем пейзаж.

И для Анджелы было характерно, что теперь, перед лицом настоящих бедствий, возможность укрыться в монастыре от нынешних и будущих невзгод даже не представлялась ей серьёзным выходом. От природы она была слишком жизнерадостна, слишком ровного и здравого нрава, а главное — слишком мужественна, чтобы безропотно покориться судьбе, которую хотела навязать ей тётка.

Можно было ожидать, что в тот вечер она хотя бы ненадолго не выдержит и выплачется в одиночестве, пока мадам Бернар ходит к судье. Но этого не случилось, хотя в какой-то миг слёзы подступили совсем близко.

Чтобы сдержать их, девушка прошла в спальню, зажгла свечу и опустилась на колени прочесть молитвы, которые выбрала для ежедневного поминовения отца. Их было много; некоторые отличались красотой, а больше половины насчитывали несколько столетий.

Убеждение, что столь праведный человек уже непременно находится на небесах, не делало молитвы о нём совершенно бесполезными. Никто не мог знать наверное, что происходит в раю. И если сам он не нуждался в её заступничестве, ей позволено было надеяться, что по божественному милосердию благодать изольётся дальше и поможет какой-нибудь бедной душе в чистилище.

Наконец мадам Бернар вернулась. Но на её добром лице было написано смятение.

Великий знаток законов подтвердил каждое слово, сказанное Анджеле княгиней и её поверенным, а на предположение, что завещание ещё может найтись, пожал плечами. Он прямо объяснил гувернантке: мужчина, обвенчавшийся с женщиной только в церкви, юридически не является её мужем. Их дети не имеют ни имени, ни прав, если он не признает их в установленной законом форме перед надлежащими властями.

Если родители умирают, не оставив завещания, дети не могут притязать на имущество, если только не были признаны надлежащим образом. Если же завещание существует, они могут наследовать, даже не будучи узаконенными, — при условии, что у завещателей нет в живых законных наследников по восходящей или нисходящей линии.

Коммендаторе выразил крайнее удивление, что юридические советники покойного князя не предупредили его о незаконном положении дочери. Это лишь доказывает, сказал он, насколько необходим закон: ведь люди, пренебрегающие им, попадают в такие ужасные беды.

Учительница французского инстинктивно чувствовала: с последним умозаключением что-то не так. Но было слишком ясно, что коммендаторе знает своё дело. Если завтра не обнаружится завещание, составленное по всем правилам, у Анджелы не будет ни малейшей надежды получить хоть грош из огромного отцовского состояния.

— Если они окажутся настолько бесчеловечны, что выгонят вас из собственного дома, ничем не обеспечив, — со слезами на глазах сказала мадам Бернар, — я не представляю, что вам делать, дорогое дитя. Мне стыдно предлагать вам маленькую свободную комнату, которую я иногда сдаю одиноким иностранным дамам… И всё же… если бы вы согласились… Ах, как я была бы рада! Расположение у неё неплохое: солнце весь день, хотя окно только одно. Ковёр немного потёрся, зато занавески новые, в тон мебели, — прелестный ситец в цветочек. А я буду готовить для вас всякие вкусные блюда, раз у вас нет аппетита! Баранину с овощами, дорогая, — она мне прекрасно удаётся, — и настоящее фрикасе! Мы, француженки, все умеем стряпать. Мой бедный муж больше всего любил мою баранину. Поест, бывало, и скажет, что египетские котлы с мясом, о которых говорится в Писании, наверняка были наполнены именно ею, и ничем другим. Но для одной не стоит так хлопотать. Яйцо, на пять су ветчины и зельца да булочка — мне одной этого довольно. Но если вы согласитесь занять комнатку… Ах, тогда я надену передник и пойду на кухню, а вы попробуете французскую стряпню настоящей француженки!

Анджела почти не слышала этих слов: великодушное намерение мадам Бернар тронуло её слишком глубоко. Она только снова и снова сжимала руку маленькой гувернантки, пытаясь вставить хоть слово благодарности между её быстрыми фразами.

— А что до остального, — продолжала мадам Бернар, — я сопровождала добрую половину римских барышень и на концерты, и к зубному врачу. У меня есть хорошенькая маленькая гостиная, и нет решительно никакой причины, почему графу Севери не навещать нас до вашей свадьбы!

Этого Анджела уже не пропустила. Она крепко стиснула маленькую пухлую руку и наконец сумела заговорить:

— Вы слишком добры! Слишком великодушны! Если всё окажется правдой, если я действительно стану нищей, лучше уж просить помощи у вас, чем у дальних родственников и знакомых! К тому же все они так боятся тёткиного языка, что никто не осмелится приютить меня даже на неделю. Но я не приду, если вы не позволите мне работать и хоть чем-нибудь

вам помогать. Не знаю только чем… Неужели я ничего не знаю настолько хорошо, чтобы преподавать?

— Ах, ну что вы! — воскликнула мадам Бернар. — Пожалуйста, не говорите так, дорогая! Как будто не величайшим счастьем будет для меня, одинокой старухи, если вы поселитесь у меня, поможете ухаживать за попугаем, каждый вечер на закате поливать цветы на окне и научитесь тушить баранину с овощами! Работать? О да! Вы будете работать, дитя моё! Если думаете, что угодить попугаю легко, — попробуйте. Только и скажу!

— Я постараюсь, — с улыбкой ответила Анджела. — Завтра в этот час мы уже будем знать, что нас ждёт.

— Что случилось, то случилось, — произнесла мадам Бернар с невозмутимостью индуса, хотя фаталисткой не была. — Даже если где-нибудь и лежит нужная бумага, разве маркиза не найдёт её первой и не разорвёт на тысячу клочков? Нет, я не стану называть её княгиней Кьяромонте! Я-то знала вашу мать, дорогая! Поверьте: если в опечатанных комнатах есть завещание, маркиза обнаружит его раньше всех!

Анджела подумала, что это вполне возможно: выражение тёткиного лица и её голос во время недавнего разговора слишком живо стояли в памяти.

Чем больше девушка размышляла о ближайшем будущем, тем яснее понимала, что пока должна принять приглашение старой гувернантки. Просить крова и самого необходимого для жизни у кого-нибудь из тех, кого она называла друзьями, Анджела не могла себя заставить.

По меньшей мере с полудюжиной девушек она близко сошлась ещё в школе Святого Сердца или минувшей зимой. Некоторые состояли в родстве с её отцом и были бы глубоко потрясены, узнав о её положении. Без сомнения, родители этих девушек приютили бы её на несколько дней. Вполне возможно, сделали бы и больше — официально выразили бы дяде и тётке возмущение тем, как с нею обошлись.

Но разве можно прожить у кого-нибудь из них дольше недели на таких условиях? Разве не окажется она всё тем же бездомным существом, не знающим, где через несколько дней придётся ночевать и обедать?

Нет. Выбор у неё только один: либо принять предложение мадам Бернар, либо явиться за милостыней в один из двух монастырей, которым покровительствовал отец.

Потом, через год или позднее, когда она станет женой Джованни Севери, она найдёт способ щедро отблагодарить великодушную женщину, не задев её чувств. До тех пор нужно принять доброту и быть благодарной, что помощь пришла от такого верного друга.

На следующий день, когда будут снимать печати и разбирать бумаги, Анджела вовсе не собиралась показываться внизу. Если она ещё питала какие-нибудь надежды на существование документа в её пользу, последние слова мадам Бернар окончательно их уничтожили — и это было к лучшему.

По крайней мере в Джованни она уверена. А год непременно пройдёт за год! Это аксиома. Когда двенадцать месяцев минуют, они тихо обвенчаются. Она не принесёт ему богатого приданого, как прежде рассчитывала; хотя его отец и состоятелен, в семье есть другие дети, поэтому богатства ожидать нельзя. Но какое значение это имеет для двух любящих людей? Очевидно, никакого.

Всё утро шёл дождь. Большую часть времени Анджела пребывала в состоянии, которое её спутнице казалось апатией. По часу сидела с книгой, не читая, затем бесцельно переходила из комнаты в комнату, чтобы через несколько минут вернуться в кресло и снова застыть перед тлеющими поленьями.

Мадам Бернар, напротив, была очень занята: она готовилась увезти девушку, если придётся уехать внезапно. Хотя слуги явно были осведомлены о происходящем, ей удалось добиться, чтобы наверх принесли два сундука и дорожный саквояж. Она начала укладывать

одежду Анджелы, отбирая только то, что могло пригодиться в тихой траурной жизни предстоящего года.

Горничная исчезла — предположительно отправилась искать новое место. Когда подошло время завтрака, мадам Бернар с трудом заставила лакея принести на подносе что-нибудь холодное. К этому часу уже не оставалось сомнений: весь дом знает правду и ждёт, что Анджела покинет дворец сегодня же. Маленькая женщина не раз прерывала укладывание вещей, чтобы погрозить кулаком стройному образу княгини Кьяромонте, возникавшему в её воображении.

Внизу всё шло так, как она и предвидела.

Княгиня, двое поверенных, нотариус и несколько писцов сняли печати и заперлись во внутренних покоях, чтобы разобрать находившиеся там бумаги и ценности. Излишне говорить, что они не обнаружили ни завещания, ни какого-либо другого документа, в котором выражалась бы хотя бы воля покойного.

Нотариус заметил, что это очень странно. Один из поверенных пожал плечами и улыбнулся; другой спросил, с какой стати следовало ожидать от такого молодого и здорового человека, как покойный князь, тщательных приготовлений к внезапной смерти, когда он вполне мог рассчитывать прожить ещё тридцать лет.

Княгиня молчала. Её муж не появился. Впрочем, он вообще нигде не появлялся. Во всех важных случаях, подобных нынешнему, княгиня имела доверенность, позволявшую представлять его, говорить за него, принимать решения и подписывать документы от его имени.

В обществе о нём ходило множество историй, в каждой из которых содержалась лишь самая ничтожная крупица правды. Одни говорили, что он безумен, другие — что разбит параличом. Некоторые уверенно утверждали, будто лицо его обезображено огромным багровым родимым пятном. Высказывалось даже предположение, что он прокажённый.

Когда дорогие подруги пересказывали жене одну из этих историй, она отвечала, что муж совершенно здоров и только что уехал в Абруцци осматривать одно из больших имений. Или что он в Венгрии, на охоте у дальних родственников, владеющих там землями. Или что, если уж говорить начистоту, у него лёгкая инфлюэнца и, как только он сможет путешествовать, он, вероятно, отправится для перемены воздуха на Сицилию.

Сама Анджела не видела дядю с раннего детства. Она помнила лишь, как однажды у тётки через комнату быстро прошёл высокий бледный человек с задумчивым лицом, не обратив ни на кого ни малейшего внимания. Девочка спросила маленьких двоюродных братьев и сестёр, кто это, и ей благоговейным шёпотом ответили: их отец.

Вероятно, это был единственный раз, когда она его видела. И почему-то теперь она не связывала дядю с тем, что происходило. Всё это делала тётка. Худой задумчивый человек не выглядел бессердечным; он не допустил бы, чтобы дочь его брата, прикрываясь буквой закона, выгнали из дома нищей.

Но даже самые близкие и нежно преданные враги княгини не сумели проникнуть в эту тайну.

Двое из них, состоявшие в родстве с её мужем, однажды предположили, что она заперла его и держит в заключении ради собственных выгод. Незадолго до того похожий случай произошёл в Палермо: злобный управляющий несколько лет держал взаперти овдовевшую владелицу имений и её дочь, едва не уморив обеих голодом.

Поэтому упомянутые родственники обратились к начальнику тайной полиции за сведениями о своём родиче. Но уже через несколько дней тот с уверенностью сообщил: маркиз дель Прато здоров, совершенно свободен, страстно увлечён учёными занятиями и пишет исчерпывающий труд о мифологии в одах Пиндара. Оснований для тревоги нет.

На этом вопрос был закрыт навсегда.

В половине четвёртого княгиня уехала, оставив поверенных и писцов заканчивать работу. Она была более чем довольна уверенностью, что среди бумаг покойного князя не най-

дётся ни завещания, ни какого-нибудь подобного документа. Всё остальное оставалось простой формальностью. Подробные описи составят позднее, когда придёт время платить наследственные пошлины; пока же ничто не мешало ей вступить во владение от имени мужа.

Перед отъездом она вызвала дворецкого и велела передать «синьорине Анджеле», что завтра ей надлежит «вывезти свои вещи». Кроме того, княгиня снизошла до объяснения: установлено, что «синьорина» — безымянный подкидыш, никакой доли в наследстве у неё нет и впредь она должна заботиться о себе сама, поскольку князь не намерен содержать такую особу.

За годы блестящей службы среди дворцовой прислуги дворецкий кое-что узнал о великих римских семействах и мог бы поведать немало удивительно романтических историй. Но с подобным ему ещё сталкиваться не доводилось. Перед ответом он на мгновение попытался посмотреть на княгиню, однако не выдержал её сверкающих глаз.

— Слушаюсь, ваше сиятельство, — сказал он с поклоном. — Подавать ли молодой госпоже еду до её отъезда? В доме находится также французская гувернантка.

— Посылайте им наверх что-нибудь со стола прислуги, — ответила княгиня.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

Но вслед ей дворецкий смотрел с немалым любопытством. Он наблюдал за её грациозной фигурой, спускавшейся по парадной лестнице, и держал распахнутой качающуюся дверь на площадке, пока княгиня не скрылась из виду. Потом вернулся внутрь, оглядел пустой зал и вслух задал вопрос, на который ещё никогда не находилось ответа.

— Женщины, женщины… Кто способен вас понять?

Глава IV

Полчаса спустя Джованни Севери вошёл в ворота дворца в штатском платье и спросил, нельзя ли повидать мадам Бернар, учительницу французского, которая сообщила ему, что гостит здесь. Привратник велел позвонить в дверь справа на второй лестничной площадке, но добавил, что едва ли кто-нибудь откроет: в доме, мол, всё вверх дном.

Однако мадам Бернар ждала его. Он пришёл точно в назначенный час, и она сама впустила его.

— Вы уже слышали, сударь? — спросила она прежде, чем он успел заговорить. — Вы знаете, что происходит?

— Да, — ответил он. — Теперь знает весь Рим: об этом написано в утренних газетах. Могу я увидеть донну Анджелу?

— Прошу вас, сударь.

Пока он говорил, она заперла наружную дверь и теперь молча повела его за собой.

Анджела издали узнала шаги Джованни и к его появлению уже стояла посреди комнаты. Он ещё никогда не видел её в чёрном; она была бледнее обыкновенного. Взяв девушку за руку, он тревожно всмотрелся в её лицо. Анджела с ожиданием встретила его взгляд и заметила в нём перемену.

Сначала оба молчали. В этой тишине мадам Бернар прошла мимо них в соседнюю комнату и затворила за собой дверь.

— Вы слышали? — спросила Анджела, всё ещё стоя перед ним и не выпуская его руки.

— Да. Сегодня об этом пишут все газеты. Все возмущены. Если ваша тётка покажется на улице, её освищут. Но закон на её стороне. Я справлялся у двух поверенных.

Он говорил короткими отрывистыми фразами, нервничал, а умолкнув, закусил ус.

— Есть ещё что-то, — ответила Анджела. — Я вижу по вашим глазам. Что-то, чего я не знаю, ещё худшая весть. Сядьте туда, у огня, напротив меня и расскажите всё. Я не боюсь. Теперь меня ничем не испугать.

Она опустилась в кресло, в котором просидела больше половины дня; он занял указанное ею место. Ожидая, когда Джованни заговорит, девушка трогала старинными щипцами маленькие сырые поленья и следила за искрами, взлетавшими от каждого прикосновения.

Но он молча смотрел на неё, на какое-то время забыв обо всём, кроме того, что остался с нею наедине — едва ли не впервые в жизни. Он переменил позу, наклонился вперёд, положив локти на колени и соединив руки, и оказался ближе к ней. Не отворачиваясь от огня, Анджела заметила это боковым зрением, но сама не двинулась.

— Скажите, что случилось, — тихо попросила она. — Теперь причинить мне боль может только одно.

— Трудно сказать, — ответил он каким-то глухим голосом.

Она поняла его неверно и медленно повернулась к нему с удивлением и испугом в глазах. Рука ослабела, хотя не совсем выпустила щипцы, и их тяжёлые концы застучали по кирпичному поду. Сомнение, бросившееся на неё, словно живое существо, едва она его увидела, теперь впивалось когтями в сердце.

— Если так трудно сказать, — произнесла она, — значит, именно это.

Она решительно отвернулась к огню.

— Если вы пришли проститься, пожалуйста, уйдите тихо и оставьте меня одну.

Она ещё не договорила, когда он схватил её за руку — так внезапно, что старые щипцы со звоном упали на кирпичи. Как и он, девушка сидела в низком кресле, наклонившись вперёд. Когда Джованни потянул её к себе, она невольно соскользнула с сиденья и оказалась возле него, опустившись на одно колено.

Она негромко вскрикнула — скорее от неожиданности, чем от недовольства или испуга, — но он не обратил внимания. Они впервые остались совсем одни. Продолжая удерживать её правой рукой, левой он обнял её за шею, чтобы приблизить лицо.

Но Анджела почти яростно воспротивилась. Упёрлась обеими руками ему в грудь и изо всех сил оттолкнулась. При мысли о поцелуе, который она почти уже видела на его губах, но которого её собственные губы ещё никогда не знали, румянец залил ей даже лоб.

Он не собирался делать ничего против её воли. Почувствовав, что девушка противопоставляет его силе свою, словно боится его, Джованни ослабил объятия и отпустил её.

Она вскочила, как молодое животное, вырвавшееся на свободу, и прислонилась к каминной полке, тяжело дыша и устремив горящий взгляд на висевшую над камином старую гравюру. На ней святая Урсула спала в причудливой кровати с четырьмя столбиками, а в ногах у неё лежала корона.

Джованни не поднялся, чтобы встать рядом. Он откинулся в кресле, сложив руки на колене. И вместо того чтобы посмотреть ей в лицо, неподвижно смотрел вниз, на подол её длинного чёрного платья, лежавший на волчьей шкуре перед камином.

— Что же случилось? — после долгого молчания спросила она не вполне твёрдым голосом.

Он понял, что она возвращается к первому вопросу, но всё ещё не отвечал. Не сводя глаз со святой Урсулы, Анджела заговорила снова:

— Если вы не прощаетесь со мной, что же так трудно сказать?

— Я долго говорил с отцом.

Анджела чуть шевельнулась и посмотрела на его склонённую голову. Голос его звучал почти отчаянно. Теперь, как ей показалось, она наконец поняла.

— Он и слышать не хочет о нашем браке, раз я стала нищей, — подсказала она.

Но Джованни тотчас поднял лицо, и в движении его была гордость.

— Вы к нему несправедливы. Он не изменился. Дело совсем в другом. С ним случилось большое несчастье: он потерял почти всё, что имел, и надежды вернуть хоть что-нибудь мало. Мы были очень хорошо обеспечены, и, если бы этого не произошло, я имел бы право жениться

на вас, даже если бы у вас не было ни гроша. Теперь же у отца осталась одна генеральская пенсия, на которую нужно содержать мать. Обоим моим братьям ещё много лет потребуется помощь: они гораздо моложе меня. А я, если останусь на службе, должен буду жить на одно жалованье.

— И это всё? — Голос Анджелы слегка дрогнул.

— Да, одно жалованье, и больше ничего…

— Я не об этом, — поспешно перебила она; в голосе зазвучала возвращавшаяся радость. — Я хотела спросить: это все дурные вести?

— Разве этого мало? Ведь это наполовину разрушает нашу жизнь! Какое право я имею просить вас сдержать обещание и выйти за меня, если мне не на что нас содержать?

Анджела теперь совсем повернулась к нему и повторила его слова:

— А какое право я имею просить вас сдержать обещание и жениться на мне? Когда вы давали слово, то думали, что у меня громкое имя и что я наследница огромного состояния. Вы ошиблись. Я «нищий подкидыш». Поверенные это доказали, а лучшее подтверждение их доказательств — то, что мне приходится принимать милостыню от старой гувернантки, да благословит её Бог! Если у кого-нибудь и есть право взять своё слово назад, то у вас. Возьмите, если хотите. Вы свободны!

Джованни встал рядом с ней, почти рассердившись.

— Вы думаете, мне было нужно ваше состояние? — спросил он, слегка побледнев под загаром.

— А вы думаете, я боюсь бедности?

Задав вопрос, она всё ещё улыбалась полуоткрытыми губами и с жестом женщины постарше слегка, почти укоризненно коснулась его руки. Краска вернулась на его смуглое лицо.

— Я боюсь бедности для вас, — ответил он. — И ради вас собираюсь с ней бороться, если у вас хватит мужества меня дождаться. Хватит?

— Я буду ждать вечно, — просто сказала она и вложила свою руку в его.

— Тогда я немедленно уйду из армии, — ответил Джованни. — До сих пор я делал то, что называют хорошей карьерой, но повышения приходится ждать долго, а жалованье ничтожно, пока не доберёшься до самых высоких чинов. Артиллерийский офицер — это ведь инженер, знаете ли. А военный инженер всегда найдёт хорошо оплачиваемую работу, особенно если он, как я, специалист по электричеству. Обещаю: через два года мы сможем пожениться и жить по меньшей мере без нужды. И нет никаких причин, почему бы мне не нажить состояния, равного тому, которое потерял отец.

Он говорил с полной уверенностью одарённого, пылкого человека, знающего собственные силы, и его слова радовали девушку. Возможно, с самого начала больше всего её привлекали в нём увлечённость и здоровая вера в мир, так ярко отличавшиеся от отцовского пессимизма и фанатичной политической некролатрии — если позволительно образовать от греческих корней слово, обозначающее слепое поклонение старомодного римлянина мёртвому прошлому.

Анджела радовалась, как радовалась бы любая женщина, но воспротивилась тому, в чём видела жертву.

— Нет, — решительно сказала она. — Вы не должны бросать армию и карьеру ради денег, даже ради меня. Разве офицеры не женятся, живя на одно жалованье? Уверена, многие женятся и прекрасно справляются. Вы совсем недавно говорили, что со дня на день ждёте повышения. И в любом случае я не могла бы выйти за вас раньше чем через год.

— Если я не начну работать сейчас, этот год будет просто потерян, — возразил Джованни.

— Год! Разве это такая большая разница?

— Почему тогда не десять? Как будто год не покажется мне столетием, пока я буду вас ждать! Как будто с прошлого месяца, когда мы сказали друг другу правду, не прошло уже пол-

жизни! Ждать? Да, если придётся. Вечно — как вы только что сказали, — если другого пути не будет. Но если можно иначе, то ни часа, ни минуты! Зачем позволять счастью пройти мимо, зачем не брать его, когда это возможно и в наших силах? Его и без того так мало на свете. И не надо воображать, будто отказаться от своей доли — великодушие: ведь то, что судьба предназначила вам, никому другому не пригодится! Нет, дорогая, нет! Мы сорвём плоды, которые есть на дереве, и не оставим их гнить на ветвях после нашего ухода. Обещайте выйти за меня ровно через год, а остальное предоставьте мне. Обещаете?

— Да. Но и вы обещайте мне одну вещь. Не подавайте в отставку ни завтра, ни на следующей неделе — я знаю, вы именно так и намерены поступить. Дайте себе месяц на размышление, осмотритесь. Вы так порывисты… то есть так великодушны, что способны подать прошение уже завтра.

— Оно уже написано, — ответил Джованни. — Я собирался отправить его сегодня вечером.

— Я так и знала! Но нельзя. Пожалуйста, пожалуйста, подождите немного — это будет гораздо благоразумнее. Я буду ждать вас вечно или обещаю выйти за вас через год, даже если нам придётся жить на хлебе и воде. Право же! Только будьте хоть немного осторожны. Гораздо лучше жениться на ваше жалованье — а капитанский чин вы наверняка получите через несколько месяцев, — чем остаться и без него, если не найдётся работа, на которую вы надеетесь. Разве вы не понимаете? Уверена, это хороший совет.

Джованни знал, что совет хорош, если только осторожность вообще стоит применять в человеческих делах, — а в этом нередко сомневаются люди смелые и беспечные.

Он уступил, хотя и не совсем охотно. Попроси она подождать два месяца вместо одного, он отказался бы: ему казалось невыносимым терять хоть мгновение между решением и действием. С каждым шагом мысли его удваивали размах, двигаясь в геометрической прогрессии: ещё мгновение — и минута станет часом, час — месяцем, месяц — целой жизнью. В таком расположении духа люди выигрывали сражения. Но порой оно стоило им жизни.

— Я знаю, вы рассудительны, — сказал Джованни, заключая руку Анджелы в обе свои. — Но я соглашаюсь ждать месяц, чтобы угодить вам. Не потому, что это кажется разумным, хотя так оно и есть. На одного человека, добившегося успеха благоразумием, приходится десять, победивших дерзостью. Кто знает, что может случиться за месяц? Что помешает мне сделать тогда то, что я мог бы сделать сегодня?

— Ничего!

Анджела ответила с той восхитительной улыбкой превосходства, какая появляется у самой юной женщины, даже у совсем ещё девочки, когда она уверена в собственной правоте и в заблуждении любимого мужчины. Дело может касаться пришивания пуговицы, погоды или важнейших жизненных решений, но улыбка всегда одна и та же. Слабых мужчин она раздражает; сильным нравится — ведь они особенно ценят в женщине всё женственное, от героической добродетели до трогательной слабости.

— За месяц не случится ничего, что помешало бы вам тогда подать в отставку так же, как сегодня, — уверенно сказала Анджела.

Лёгкая улыбка исчезла. Девушка задумалась — не о себе, а о нём — и снова посмотрела на святую Урсулу. Рука её всё ещё лежала в его руке на краю каминной полки. Глядя на гравюру, Анджела знала, что он смотрит на неё и придвигается ближе. Чувствовала, что он собирается её поцеловать, но на этот раз не сопротивлялась, хотя румянец уже поднимался по шее и заливал кожу под нежным лепестком персикового цвета, на который был устремлён его взгляд.

Это была всего лишь мочка её уха, но она так походила на цветочный лепесток, что, когда губы Джованни наконец коснулись её, он вспомнил аромат цветущего дерева.

В ту же минуту он крепче сжал её руку. Под его пальцами она затрепетала, как маленькая мягкая птица, но сопротивления не было.

Он поцеловал мочку её уха, и Анджела чуть повернулась к нему. Его губы коснулись прохладной щеки; девушка снова шевельнулась. Их глаза встретились — совсем близко, тёмные и полные света. И наконец его губы коснулись её губ.

У судьбы множество обличий и настроений. Иногда — как в тот день у телефона — неожиданность выскакивает из укрытия и наносит ошеломляющие удары направо и налево, словно Орест среди быков в Тавриде или безумец, выпущенный на свободу среди здравомыслящих людей.

Но иногда судьба таится в своём логове, молча склоняется над скрижалями будущего и отмечает каждое наше слово: против самых мудрых речей небрежно выводит «Безумие», а под мимоходом брошенной шуткой ставит печать: «Да будет так».

Пока влюблённые впервые целовались у камина, судьба была занята. Но никакой внутренний голос не предупредил Анджелу, что она сама бесповоротно определяет ход своей жизни, давая Джованни лучший совет, какой могла придумать. А он принял этот совет, чтобы порадовать её, и ради неё подчинил инстинкт рассудку.

Неразумен мужчина, который делает важный шаг, не посоветовавшись с любящей его женщиной — матерью, сестрой, женой или возлюбленной. Но редко поступает он мудро, если следует её совету буквально, как незыблемому правилу: женщина идёт от мысли к осуществлению не той дорогой, что мужчина. Из сеттера не сделать пойнтера, а бульдога не научить подавать дичь.

Если бы Джованни подал прошение об отставке в тот вечер или даже на следующий день, как был готов поступить, его приняли бы обычным порядком. Тогда он, несомненно, нашёл бы применение своим способностям и энергии — на родине или за границей. По всей вероятности, добился бы успеха, поскольку обладал всем для этого необходимым. В положенный срок женился бы на Анджеле, и они, вероятно, прожили бы счастливо много лет: они во всём подходили друг другу и оба отличались превосходным здоровьем.

Случись всё именно так, их история представляла бы мало интереса для кого-либо, кроме них самих, разве только могла бы послужить примером молодым супругам. Но, к прискорбию, едва ли найдётся на свете что-нибудь скучнее и утомительнее хорошего примера.

Заборы вдоль пыльных дорог жизни сплошь заклеены хорошими примерами всевозможной сохранности: от новеньких, только что развёрнутых нравоучительным расклейщиком и ещё пахнущих клейстером, до добрых старых, свисающих клочьями, словно в полном отчаянии оттого, что никто ни разу не остановился на них взглянуть.

Да уберегут боги литературы всех хороших рассказчиков от сочинения рекламы патентованных добродетелей!

Самый важный и решающий миг во всей жизни Анджелы — от начала её и до конца — прошёл так тихо, что она даже не заподозрила о его существовании. И почти в следующую секунду принес ей первый поцелуй единственного мужчины, которого она когда-либо любила и которому суждено было навсегда остаться её единственной любовью.

Глава V

Мадам Бернар не преувеличивала достоинств комнаты, которую время от времени сдавала иностранным дамам, путешествовавшим без спутников и старавшимся экономить. Анджела же отказалась поселиться в ней, пока не убедилась, что собственная спальня старой гувернантки столь же просторна, солнечна и удобна.

Прежде всего комната оказалась гораздо больше, чем она ожидала. Разложив всё своё имущество, убрав одежду, расставив красивый туалетный прибор и немногочисленные книги, бесспорно принадлежавшие ей самой, девушка обнаружила, что ничуть не стеснена в пространстве.

Правда, потолок был невысок, а окно всего одно, зато очень широкое. Снаружи под ним прочно крепилась широкая железная полка, на которой стояли на солнце четыре довольно больших цветочных горшка.

Цветов пока не было, но два тщательно ухоженных куста гвоздики покрылись бутонами; крошечный розовый куст обещал вскоре дать три или четыре цветка, а базилик уже выпускал завитки зелёных побегов. Напротив окна, за тихой улицей, лежал обнесённый стеной сад с несколькими апельсиновыми и мандариновыми деревьями.

Между спальнями находилась гостиная, немного меньше каждой из них, но вполне достаточная для двух женщин. Всю зиму мадам Бернар обедала именно здесь: маленькая столовая в задней части дома была не такой весёлой и гораздо более холодной.

На одной из стен, над пианино, висела увеличенная раскрашенная фотография давно умершего капитана Бернара в форме французской артиллерии времён Франко-прусской войны. Чёрную раму украшал венок из бессмертников с чёрным бантом. Под портретом к стене была прикреплена крошечная кропильница из старинного тирольского олова.

Каждую Пасху, когда приходской священник приходил благословить комнаты, мадам Бернар наполняла её святой водой. Каждый год, в годовщину смерти мужа, обновляла венок. Она была верной душой и соблюдала эти маленькие обряды с каким-то бодрым удовлетворением, не вполне похожим на благочестие, но несомненно имевшим религиозные истоки.

Капитан Бернар был лихим малым, и кто мог знать, в чём нуждалась его душа там, что вдова, говоря о предполагаемом её местопребывании, неопределённо называла «по ту сторону». Когда же речь шла, например, об отце Анджелы, она неизменно говорила «на небесах» или «в раю».

По-видимому, мадам Бернар представлялось, что бессмертная часть её супруга проходит какое-то весьма необходимое лечение, прежде чем вкусить ничем не омрачённое блаженство.

— У военных столько соблазнов, дорогая, — сказала она Анджеле, думая больше о покойном капитане, чем о такте. — То есть, — поправилась она, — во Франции.

За Джованни Анджела не боялась. Правильно или нет, она верила, что её любовь послужит ему щитом от порочного мира, а её имя станет молитвой в минуту опасности. Поэтому на слова мадам Бернар девушка лишь улыбнулась.

Большой старый попугай на своей жёрдочке склонил голову набок.

— Особенно у кавалеристов и артиллеристов, — продолжала объяснять добрая дама.

— Напр-р-раво, захождение! — рявкнул попугай устрашающим командирским голосом.

Анджела вздрогнула в кресле: впервые она услышала, чтобы птица говорила таким тоном. Но мадам Бернар засмеялась, словно это доставляло ей удовольствие.

— Совершенно как мой бедный муж, — спокойно заметила она. Затем повернулась к воинственной птице: — Коко, пруссаки идут!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.